

Николай Лесков

**Мелочи архиерейской
ЖИЗНИ**



Николай Семёнович Лесков Мелочи архиерейской жизни

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175277*

Содержание

Предисловие к первому изданию	4
Глава первая	7
Глава вторая	22
Глава третья	39
Глава четвертая	49
Глава пятая	62
Глава шестая	66
Глава седьмая	74
Глава восьмая	92
Глава девятая	107
Глава десятая	118
Глава одиннадцатая	129
Глава двенадцатая	144
Глава тринадцатая	180
Глава четырнадцатая	198
Глава пятнадцатая	217
Глава шестнадцатая	223

Николай Лесков

Мелочи

архиерейской жизни

(Картинки с натуры)

Нет ни одного государства, в котором бы не находились превосходные мужи во всяком роде, но, к сожалению, каждый человек собственному своему взору величайшей важности кажется предметом.

(«Народная гордость», Москва, 1788 г.)

Предисловие к первому изданию

В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. Значительная доля этих рассказов так невероятна, что человек, незнакомый с епархиальною практикою, легко мог принять их за вымысел; но для людей, знакомых с клировою жизнью, они имеют совсем другое значение. Нет сомнения, что это не чьи-либо измышления, а настоящая,

живая правда, списанная с натуры, и притом отнюдь не со злою целью.

Сведущим людям известно, что среди наших «владык» никогда не оскудевала непосредственность, — это не подлежит ни малейшему сомнению, и с этой точки зрения рассказы ничего не открыли нового, но досадно, что они остановились, показав, как будто умышленно, только одну сторону этих интересных нравов, выработавшихся под особенными условиями оригинальной исключительности положения русского архиерея, и скрыли многие другие стороны архиерейской жизни.

Невозможно согласиться, будто все странности, которые рассказываются об архиереях, напущены ими на себя произвольно, и я хочу попробовать сказать кое-что в *защиту* наших владык, которые не находят себе иных защитников, кроме узких и односторонних людей, почитающих всякую речь о епископах за оскорбление их достоинству.

Из моего житейского опыта я имел возможность не раз убеждаться, что наши владыки, и даже самые непосредственнейшие из них, по своим оригинальностям, отнюдь не так нечувствительны и недоступны воздействиям общества, как это представляют корреспонденты. Об этом я и хочу рассказать кое-что, в тех целях, чтобы отнять у некоторых обличений

их очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дело на одних владык и не обращающую ни малейшего внимания на их положение и на отношение к ним самого общества. По моему мнению, наше общество должно понести на себе самом хоть долю укоризн, адресуемых архиереям.

Как бы это кому ни показалось парадоксальным, однако прошу внимания к тем примерам, которые приведу в доказательство моих положений.

Глава первая

Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский – Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово... Дальнейших последствий это не имело.

В доме у нас не любили черного духовенства вообще, а архиереев в особенности. Я их просто боялся, вероятно потому, что долго помнил страшный гнев отца на Никодима и пугавшее меня заверение моей няньки, будто «архиереи Христа распяли». Христа же меня научили любить с детства.

Первый архиерей, которого я узнал лично, был Смарагд Крижановский, во время его управления орловскою епархией.

Это воспоминание относится к самым ранним годам моего отрочества, когда я, обучаясь в орловской гимназии, постоянно слышал рассказы о деяниях этого владыки и его секретаря, «ужасного Бруевича».

Сведения мои об этих лицах были довольно разносторонние, потому что, по несколько исключительному моему семейному положению, я в то время вра-

щался в двух противоположных кругах орловского общества. По отцу моему, происходившему из духовного звания, я бывал у некоторых орловских духовных и хаживал иногда по праздникам в монастырскую слободку, где проживали ставленники и томившиеся в чянии «владычного суда» подначальные. У родственников же с материнной стороны, принадлежавших к тогдашнему губернскому «свету», я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпеть не мог Смарагда и находил неутолимое удовольствие везде его ругать. Князь Трубецкой постоянно называл Смарагда не иначе, как «козлом», а Смарагд в отместку величал князя «петухом».

Впоследствии я много раз замечал, что очень многие генералы любят называть архиереев «козлами», а архиереи тоже, в свою очередь, зовут генералов «петухами».

Вероятно, это почему-нибудь так следует.

Губернатор князь Трубецкой и епископ Смарагд невзлюбили друг друга с первой встречи и считали долгом враждовать между собою во все время своего совместного служения в Орле, где по этому случаю насчет их ссор и пререканий ходило много рассказов, по большей части, однако же, или совсем неверных, или по крайней мере сильно преувеличенных. Таков, например, повсеместно с несомненною досто-

верностью рассказываемый анекдот о том, как епископ Смарагд будто бы ходил с хоругвями под звон колоколов на съезжую посещать священника, взятого по распоряжению князя Трубецкого в часть ночным обходом в то время, как этот священник шел с дароносицею к больному.

На самом деле такого происшествия в Орле вовсе не было. Многие говорят, что оно было будто бы в Саратове или в Рязани, где тоже епископствовал и тоже ссорился преосвященный Смарагд, но немудрено, что и там этого не было. Несомненно одно, что Смарагд терпеть не мог князя Петра Ивановича Трубецкого и еще более его супругу, княгиню Трубецкую, урожденную Витгенштейн, которую он, кажется не без основания, звал «буесловною немкою». Этой энергичной даме Смарагд оказывал замечательные грубости, в том числе раз при мне сделал ей в церкви такое резкое и оскорбительное замечание, что это ужаснуло орловцев. Но княгиня снесла и ответить Смарагду не сумела.

Епископ Смарагд был человек раздражительный и резкий, и если ходящие о его распрях с губернаторами анекдоты не всегда фактически верны, то все они в самом сочинении своем верно изображают характер ссорившихся сановников и общественное о них представление. Князь Петр Иванович Трубецкой во всех

этих анекдотах представляется человеком заносчивым, мелочным и бестактным. О нем говорили, что он «петушится», – топорщит перья и брыкает шпорою во что попало, а покойный Смарагд «козляковал». Он действовал с расчетом: он, бывало, некоторое время поглядывает на петушка и даже бородой не тряхнет, но чуть тот не поостережется и выступит за ограду, он его в ту же минуту боднет и назад на его насест перекинет.

В кружках орловского общества, которое не любило ни князя Трубецкого, ни епископа Смарагда, последний все-таки пользовался лучшим вниманием. В нем ценили по крайней мере его ум и его «неуемность». О нем говорили:

– Сорванец и молодец – ни Бога не боится, ни людей не стыдится.

Такие люди в русском обществе приобретают авторитет, законности которого я и не намерен оспаривать, но я имею основание думать, что покойный орловский дерзкий епископ едва ли на самом деле «ни Бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотреть на этого владыку с общей точки зрения, то, пожалуй, за ним как будто можно признать такой авторитет; но если заглянуть на него со стороны некоторых мелочей, весьма часто ускользающих от общего внимания, то выйдет, что и Смарагд

не был чужд способности стыдиться людей, а может быть, даже и бояться Бога.

Вот тому примеры, которые, вероятно, одним вовсе неизвестны, а другими, может быть, до сих пор позабыты.

Теперь я сначала представлю читателям оригинального человека из орловских старожилков, которого чрезвычайно боялся «неуемный Смарагд».

В то самое время, когда жили и враждовали в Орле кн. П. И. Трубецкой и преосвященный Смарагд, там же в этом «многострадальном Орле», в небольшом сереньком домике на Полешской площади проживал не очень давно скончавшийся отставной майор Александр Христианович Шульц. Его все в Орле знали и все звали его с титулом «майор Шульц», хотя он никогда не носил военного платья и самое его майорство некоторым казалось немножко «апокрифическим». Откуда он и кто такой, – едва ли кто-нибудь знал с полною достоверностью. Шутливые люди решались даже утверждать, что «майор Шульц» и есть вечный жид Агасфер или другое, столь же таинственное, но многозначащее лицо.

Александр Христианович Шульц с тех пор, как я его помню, – а я помню его с моего детства, – был старик, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокого роста, крепкой комплекции, с сильною проседью в во-

лосах, с густыми, очень приятными усами, закрывавшими его совершенно беззубый рот, и с блестящими, искрившимися серыми глазами в правильных веках, опущенных длинными и густыми темными ресницами. Люди, видевшие его незадолго до его смерти, говорят, что он таким и умер. Он был человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник, умевший иногда ловко запутать путаницу и еще ловчее ее распутать. Он не только был человек доброжелательный, но и делал немало добра. Официальное положение Шульца в Орле выражалось тем, что он был бессменным старшиною дворянского клуба. Никакого другого места он не занимал и жил неизвестно чем, но жил очень хорошо. Небольшая квартира его всегда была меблирована со вкусом, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостил из приезжих дворян; закуска в его доме подавалась всегда обильная, как при нем, так и без него. Домом у него заведовал очень умный и вежливый человек Василий, питавший к своему господину самую верную преданность. Женщин в доме не было, хотя покойный Шульц был большой любитель женского пола и, по выражению Василия, «страшно следил по этому предмету».

Жил он, как одни думали, картами, то есть вел постоянную картежную игру в клубе и у себя дома;

по другим же, он жил благодаря нежной заботливости своих богатых друзей Киреевских. Последнему верить гораздо легче, тем более что Александр Христианович умел заставить любить себя очень искренно. Шульц был человек очень сострадательный и не забывал заповеди «стяжать себе друзей от мамоны неправды». Так, в то время, когда в Орле еще не существовало благотворительных обществ, Шульц едва ли был не единственным благотворителем, который подавал больше гроша, как это делало и, вероятно, доселе делает орловское православное христианство. Майора хорошо знали беспомощные бедняки Пушкарской и Стрелецкой слобод, куда он часто отправлялся в своем куце коричневом сюртучке с запасом «штрафных» денег, собиравшихся у него от поздних клубных гостей, и здесь раздавал их бедным, иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что он даже покупал и дарил рабочих лошадей и коров и охотно хлопотал об определении в училище беспомощных сирот, что ему почти всегда удавалось благодаря его обширным и коротким связям.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульц приносил ему еще и другую, может быть не менее важную услугу: он олицетворял в своей особе местную гласность и сатиру, которая благодаря его неутомимому и остроумному языку была у него беспощадна и обуздывала много

пошлостей дикого самодурства тогдашнего «доброего времени». Тонкий и язвительный юмор Шульца преследовал по преимуществу местных светил, но преследование это велось у него с таким тактом и наивностью, что никто и думать не смел ему мстить. Напротив, многие из преследуемых бичом его сатиры нередко сами помирали со смеху от насмешек майора, а боялись его все, по крайней мере все, имевшие в городе вес и значение и потому, конечно, желавшие не быть осмеянными, лебезили перед не имевшим никакого официального значения клубным майором.

Шулец, конечно, это знал и мастерски пользовался почтительным страхом, наведенным им на людей, не желавших почитать ничего более достойного почтения.

Шульцу было известно все, что происходило в городе. Сам он, по преимуществу и даже исключительно, держался компании в «высшем круге», где его и особенно боялись, но он не затворял своих дверей ни перед кем, и оттого все сколько-нибудь интересные или скандальные вести стекались к нему всяческими путями. Шулец был принят и у князя Трубецкого и у архиерея Смарагда, распрями которых он тешился и рачительно ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская об этих лицах повсюду самые смешные и в то же время способные усиливать их ссору вести.

Мало-помалу Шульц до такой степени увлекся этой травлею, что предался ей с исключительным жаром и, можно сказать, некоторое время просто как бы ею только и жил. Он всеми мерами старался разогреть и раздуть страсти этих борцов до того непримиримого пламени, в котором они с неукротимую энергиею старались испепелить друг друга.

Почти всякий день Шульц приходил к дяде моему, дворянскому предводителю (потом совестному судье и председателю палат) Л. И. Константинову и помирал со смеху, рассказывая, что ему удалось настроить, чтобы архиерей с губернатором лютее обозлились друг на друга, или же предавался серьезной скорби, что они «устают действовать», – в последнем случае он не успокоивался, пока не приходил к счастливым соображениям, чем их раздражить и сравить наново. И он отменно достигал этих целей, о которых мы в доме дяди всегда больше или меньше знали и из коих об иных стоит, кажется, рассказать для характеристики лиц и того *солидного* времени, которое так часто противопоставляется нынешнему времени – легкомысленному и несолидному.

Смарагд по прибытии в Орел очень скоро узнал о Шульце и оценил его значение. Он, разумеется, не только не пренебрег майором, но отнесся к нему с самую лестную внимательностью. Долго он все зазы-

вал Шульца к себе через Киреевских и заигрывал с ним через других, поручая попенять ему, что он не хочет «навестить бедного монаха». Шульц не шел, но как бы благоволил к архиерею и похваливал его насчет губернатора. Наконец они встретились с Смарагдом, кажется на обеде в с. Шахове, и майор здесь совсем очаровал скучавшего епископа своими едкими сарказмами над Трубецким и доктором Лоренцем, а также и над другими видными орловскими гражданами. Знавший толк в людях, Смарагд тут же постарался подметить слабость самого майора: он заметил, что Шульц любил хорошо покушать и притом был тонкий ценитель «доброто винца», в чем довольно сведущ был и покойный епископ. И вот «бедный монах» пригласил Зоила к себе в город запросто и угостил его, что называется, «по-знатоцки».

С тех пор они стали знакомы и, как люди очень умные, не много чинясь друг с другом, скоро сблизились. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца до того, чтобы он совсем положил печать молчания на свои уста, и хотя многим казалось, будто майор как бы щадил архиерея и даже нападал за него на князя, но весьма вероятно, что это происходило оттого, что Смарагд без сравнения превосходил губернатора в уме, а Шульц был любителем ума, в ком бы ни встречал его. Однако послабление епископу длилось

недолго: раз, когда Шульцу стали замечать, что он щадит архиерея, он ответил:

– Не могу же я, господа, не делать разницы между Трубецким, у которого мне подают блюдо его лакеи, и архиереем, который всегда сам меня потчует.

Это было передано Смарагду и послужило началом владычного неудовольствия, которое вскоре затем усилилось еще одним обстоятельством, после которого между владыкою и Шульцем произошел разрыв. Причиной тому был приезд в Орел какого-то важного чиновника центрального духовного учреждения. Может быть, это был директор синодальной канцелярии, а может быть, что-нибудь даже еще более достопримечательное. Смарагд чествовал заезжего гостя в своем архиерейском доме вечернею трапезою, а Шульц был в числе возлежавших и, по обыкновению, один оживлял пир своим веселым и злым остроумием.

Благодаря ему зашла беседа за ночь, и «недоставшу вину» владыка восплескал руками, что у него было призывным знаком для слуг; но слуги, не чая позднего дополнения к столу, отлучились. Тогда архиерей живо встал и, чтобы не распустить компанию, подобрал свою бархатную рясу, побежал с такою резвостию, что, чрезвычайно удивленный этою прыткостью епископа, Шульц на другой же день начал рассказы-

вать, как резво умеют наши владыки бегать перед чиновниками.

Смарагду это совсем не понравилось. Он нашел, что Шульц «нехорош в компании», но, однако, его высокопреосвященство никак не мог освободиться от довольно тяжелого нравственного влияния майора: Шульц ни за что не хотел спускать с глаз архиерейскую распрю с губернатором и придумал такую штуку, чтобы обнародовать положение их фондов во всеобщее сведение.

Это имеет особенный интерес, потому что тут мы можем получить довольно ясное указание, как несправедливы некоторые нарекания на архиереев, будто бы нимало не дорожащих общественным мнением.

Нижеследующий случай покажет, что даже и Смарагд был чуток к совету Сираха «пещись об имени своем».

На светлом окне серого домика на Полешской площади «сожженного» города Орла в один прекрасный день совершенно для всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске, с золочеными игрушечными же шпорами и бакенбардами; а другое – маленький, опять-таки игрушечный же козел с бороною, покрытый черным лоскутком, свернутым в виде монашеского клобука. Ко-

зел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите.

Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, «как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся».

Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной.

Не знаю, как интересовался этим князь Петр Иванович. Может быть, что этот губернатор, по приписываемым ему словам «сильно занятый поджогами», за недосугами и не знал, что изображали шульцевы манекены; но преосвященный это знал и очень следил за этим делом. Особенно с тех пор, когда фонды Смарагда в Петербурге совсем пали, бедный старец очень интересовался: как разумеют о нем люди? – и

частенько, говорят, посылал некоего, поныне еще, кажется, здравствующего в Орле мужа «приватно пройтись и посмотреть, что представляют у Шульца на окне *фигуры*: какая какую борет?»¹

Муж ходил, смотрел и доносил – не знаю, все ли сполна. Когда у Шульца на окне козел бодал петуха и сбивал с него каску, – владыку это куражило, и он веселел, а когда петух щипал и шпорил козла, то это производило действие противоположное.

Не наблюдать за *фигурами*, впрочем, было и невозможно, потому что бывали случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на которой было крупно начертано: «П-р-и-х-о-д», а внизу, под сим заголовком, писалось: «такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару» или что-нибудь в этом роде. Говорили, что эти цифры большею частью имели живое отношение к действительности, и потому за них жутко доставалось всем, кто мог быть заподозрен в нескромности. Но предпринять против этого ничего нельзя было, так как против устроенного майором Шульцем органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни расширившая свободу

¹ О значении Смарагда в Орле ходили преувеличенные толки, будто он «близок ко двору», потому что «был законоучителем цесаревича» (императора Александра II), но в сущности все это ограничивалось тем, что Смарагд случайно занимался некоторое время «по болезни Павского» (прим. Лескова).

печати система предостережений, до благодеев которой, впрочем, еще и поныне не дожил издающийся в моем родном городе «Орловский вестник».

Сколь счастливее его были оные приснопамятные шутовские органы гласности, изобретенные Шульцем! И зато они сравнительно сильнее действовали. По крайней мере то несомненно, что крутой из крутых и смелый до дерзости архиерей их серьезно боялся. Можно думать, что если бы не они, то анекдоты о Смарагде, вероятно, имели бы еще более жесткий и мрачный характер, от которого владыку воздерживало только одно шутки ради устроенное пугало.

Надеюсь, что рассказанными мелочами из моих отроческих воспоминаний об архиерее, которого я знал в оную безгласную пору на Руси, я в некоторой степени показал примером, что и самые крутые из архиереев не остаются безучастными к общественному мнению, а потому такое нареkanie на них едва ли справедливо. Теперь же я на том же самом Смарагде представлю другой пример, который может показать, что и обвинение архиереев в безучастии и жестокости тоже может быть не всегда верно.

Но пусть вместо наших рассуждений говорят сами маленькие «события».

Глава вторая

На долю Орла выпало довольно суровых владык, между которыми, по особенному своему жестокосердию, известны Никодим и опять-таки тот же Смарагд Крижановский. О жестокостях Никодима я слышал ужасные рассказы и песню, которая начиналась словами:

Архиерей наш Никодим
Архилютый крокодил.

Но многие жестокости Смарагда я сам лично видел и сам оплакивал моими ребячьими слезами истомленных узников орловской Монастырской слободы, где они с плачем глодали плесневые корки хлеба, собираемые милостыней. Я видал, как *священники целовали руки* некоего жандармского вахмистра, ростовщика, имевшего здесь дом и огород, на коем бесплатно работали должные и не должные ему подначальные попы и дьяконы, за то только, чтобы этот вахмистр «поговорил о них секретарю», деньгами которого будто бы оперировал этот воин.

У меня на этой Монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею

тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские «проломленные головы». Это в самом деле была очень добрая семья, состоявшая из отца, белого, как лунь, коротенького старичка, который два раза в неделю с огромною «валентиновскою» саблей при бедре садился верхом на сытую игренюю кобылку и выводил за кромскую заставу арестантские этапы. Арестанты его любили и, как был слух, не бегали из-под его конвоя только потому, что им «было жалко его благородие». Он был совсем старец и, давно потеряв все зубы, кушал лишь одну манную кашку.

Жена его, золотушная старушка, тоже была в детском состоянии: она питала безграничную и ничем не смущаемую доверчивость ко всем людям, любила получать в подарок игрушечные фарфоровые куколки, которые она расставляла в минуты скуки и уныния, посещавшие ее при появившихся под старость детских болезнях. У нее обыкновенно делались то свинка, то корь, то коклюш, а незадолго перед смертью появились какие-то припадочки вроде родимца. Оба этапные супруга были добры до бесконечности. Их сын – мой гимназический товарищ, постоянно читавший романы Вальтер Скотта, и дочь, миловидная девушка, занимавшаяся вышиваньем гарусом, – тоже были олицетворением простоты и кротости. И вот у этих-то добрых людей на дворе, по сеням и закуткам все-

гда проживали «духовенные» из призванных «под начал» или «ожидавших резолюции». С них в этом христианском доме ничего не брали, а держали их просто по состраданию, «Христа ради». Изредка разве, и то не иначе как «по усердию», кто-нибудь из подначальных бедняков, бывало, прометет двор или улицы, или выполет гряды, или сходит на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйского, столько же и для собственного употребления самих подначальных.

В кромешном аду, который представляла собою орловская Монастырская слободка, уютный домик этапного офицера и его чистенький дворик представляли самое утешительное и даже почти сносное место. Сострадательные хозяева жалели злополучных «подначальников» и облегчали их тяжкую участь без рассуждения, которое так легко ведет к осуждению. Но, однако, и здесь, кроме приюта, «духовенным» ничего не давали, потому что не имели, что им дать. Им дозволяли только дергать в огороде чрезвычайно разросшийся хрен, который угрожал заглушить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребление его «духовенными».

Домом этим дорожили «духовенные» и, прощаясь с офицерским семейством, всегда молили «паки их не отвергнуть, если впадут в руке Бруевича и паки сюда последуют». Дорожил этими добрыми людьми

и я, не только потому, что мне всегда было приятно в этой простой, доброй семье, но и потому, что я мог здесь встречать многострадальных «духовенных», с детства меня необыкновенно интересовавших. Они располагали меня к себе их жалкою приниженностью и сословной оригинальностью, в которой мне чужалось несравненно более жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений «культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской Монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян». Но в тех же хранилищах моей памяти, из коих я черпал типичные черты для изображения лиц, выведенных мною в названной моей хронике, у меня остается еще много клочков и обрезков или, как нынче говорят по-русски, «купюров». И вот один из этих «купюров», герой моего наступающего рассказа – молодой сельский дьячок Лукьян, или в просторечии Лучка, а фамилии его я не помню. Это

был человек очень длинный и от своей долготы сторбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми щеками, несоразмерно маленькою головкою «репкою» и желтыми лукавыми глазками. Он был «беспокойного характера», постоянно имел разнообразные стычки с разными лицами, попал за одну из них под начало и сделался мне особенно памятным по своей отважной борьбе с Смарагдом, которого он имел удивительное счастье и растрогать и одолеть – во всяком случае, по собственным его словам, он «победил воеводу непобедимого».

Дьячок Лукьян появился в офицерском доме на Монастырской слободке летом, перед ученическим разъездом на каникулы. Род вины его был оригинальный: он попал сюда *«по обвинению в кисейных рукавах»*. Подробнее этого о своем преступлении Лукьян вначале ничего не сообщал, и я так и уехал на каникулы в деревню с одними этими поверхностными и скудными сведениями о его виновности. Известно было только, что преступление с «кисейными рукавами» стряслось на Троицу и что виновный в нем был взят и привезен в Орел, по его словам, как-то «нагло», так что он даже оказался без шапки. Это я очень хорошо помню, потому что бедняк попервоначально чрезвычайно стеснялся быть без шапки и все хлопотал отыскать «оказию», чтобы выписать из «своих мест» какую-то,

будто бы имевшуюся у него, другую шапку. По своему легкомысленному ребячеству я почему-то все сблизил Лукьяна с тогдашним романсом:

Ах, о чем ты проливаешь
Слезы горькие тайком
И украдкой утираешь
Их кисейным рукавом.

Я думал, не он ли сочинил этот романс, или не запел ли он его ошибкою, где не следует. Но дело заключалось совсем в ином.

По возвращении с каникул я застал Лукьяна в прежней позиции, то есть на этой же Монастырской слободке, в офицерском доме, но только уже не просто-волосого, а в желтом кожаном картузе с длинным четырехугольным козырем. Это меня очень обрадовало, и я при первой же встрече выразил ему свое удовольствие, что он нашел хорошую оказию вытребовать себе шапку. Но Лукьян только махнул головою и, сняв с себя свой оригинальный картуз, отвечал, что оказии он еще не нашел, а что носимый им теперь на голове снаряд добыт им «по случаю». При этом, осматривая картуз с глубоким пренебрежением, как вещь, не соответствующую его духовному званию и употребляемую только по крайности, он сказал:

– Колпачок этот, чтобы покуда накрываться, мне

царских жеребцов вертинар² за регистры подарил, – и при этом Лукьян добавил, что колпак этот «дурацкий» и что как только он вскорости возвратится домой, то сейчас же этот «колпачок» сдаст на скворешню и скворца в него посадит, чтобы тот научился в ней по-немецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако ни один скворец не дождался этой чести, потому что немецкий колпачок успел разрушиться на голове самого Лукьяна, прежде чем он уехал восвояси. Он гулял в нем все лето, осень и зиму до Алексея божия человека, когда в судьбе моего страдальца неожиданно произошла счастливая перемена.

За этот термин страданий я узнал от Лукьяна в подробности о кисейных рукавах и о прочем, – о чем теперь, вероятно, без всяких для него последствий могу сказать в воспоминание: какие важные дела иногда судят наши владыки.

Лукьян был человек холостой и состоял дьячком в очень бедном приходе, в селе, которое, кажется, называлось Цветынь и было где-то неподалеку от известного над Окою крутого Ботавинского спуска. При Лукьяне жила мать, которую он очень любил, но более всего он, по своему кавалерскому положению, любил

² «Царскими жеребцами» в Орле тогда звали заводских жеребцов случайной конюшни императорского коннозаводства. Она помещалась против Монастырской слободы (*прим. Лескова*).

нежный пол и по этому случаю часто попадал в «стычки». В этих случаях Лукьян нередко был «мят», но все это ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно приносить «телесное научение». Увлечение страсти и слабости сердца заставляли его забывать все бывшее, и вскоре опять где женщины – там и Лукьян, а затем невдалеке его и колотят, и – что всего удивительнее – колотят иногда при помощи тех же самых женщин, у которых он благодаря крутым завиткам на висках и обольстительному духовному красноречию имел замечательные успехи. Но, на его несчастье, он был слишком непостоянен и притом слишком находчив. В таком роде было и его последнее преступление, за которое он теперь томился в Орле. Удостоенный внимания пожилой постоялой дворничихи, он был у нее на «кондиции», а в то же самое время воспыал страстью к другой, молодой и более красивой женщине и тут так «попутался», что во время одного визита к дворничихе «скрыл» у нее и «потаенно вынес» пышные кисейные рукава, которые немедленно же и презентовал соблазнительной красавице. Сердце красавицы он этим преклонил на свою сторону, но сам за это «двукратно пострадал». Во-первых, когда молодая женщина появилась в «скрытых» Лукьяном кисейных рукавах на Троицын день под качелями, то она тем привела в неистовство обижен-

ную дворничиху. Последствием этого было, что обе бабы произвели сначала взаимную потасовку, а потом, увидя желавшего их разнять Лукьяна, соединили свои силы и обе принялись за него: его они жестоко растрепали и исцарапали, а еще более «пустили молву», вследствие чего об этом было «донесено репортом», который, к удовольствию всех друзей нерушимости духовно-судебных порядков, предстал на архиерейский суд.

Но суд был еще далек: обвиняемый томился, а Смарагду о нем, вероятно, или совсем не докладывали, или же владыка не считал дело «о кисейных рукавах» подлежащим немедленному разбирательству и хотел нарочно потомить духовного волокиту. На огороде офицера отцвел и свернулся наперенный Лукьяном «по усердию» горох и посинели тучные бобы, в буйной ботве которых, бывало, спрятавшийся Лукьян громко и приятно наигрывал что-то на зеленой ракитовой дудке. Он пленял эту чудесною игрою и нас с товарищем, слушавших его с чердака, куда мы забирались читать Веверлея, и многих соседок офицерского домика, старавшихся открыть через частокол, где кроется в своем желтом картузе пострадавший за любовь трубадур? Все это отошло: огороды опустели, Лукьян убрал офицерше, по усердию, и картофель и репу и нарубил с батрачкою большие наполь капусты,

а собственное его дело о кисейных рукавах нимало не подвигалось.

Настала суровая, холодная осень, а он все еще сидел на опустелом огороде и спал в нетопленном курятнике. Питался он *хреном*, сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток. Кушанье это было – скобленный хрен с сальными «шкварками», которые выбрасывали из кухни, а напиток делался из тертого хрена с белым квасом – «суровцом».

Шутя над своею нуждою, Лукьян называл свое блюдо из хрена «лимонад-буштец», а напиток «лимонад-бышквит».

Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного из древних русских могучих богатырей покормить этим «лимонад-буштецем» и попоить «лимонад-бышквитом», то и он не замедлил бы задрать ноги, но тщедушный Лукьян жив и здоров бывал. Однако, наконец, вся эта истома и его пересилила: он заскучал и стал убиваться о том, как бы к кому-нибудь подольститься и «найти протекцию», чтобы «подвинуть свое дело». И он этого достиг и «подольстился» к кому-то такому, кто попросил о нем жандармского вахмистра, который, как сказано, имел сношения с случайными людьми архиерейского дома. Все эти люди явили Лукьяну благостыню, по началу судя, весьма странную, но по последствиям, как

оказалось, чрезвычайно полезную.

У полнокровного и тучного Смарагда бывали тяжелые припадки, надо полагать, геморроидального свойства. В эту пору у него, по рассказам, болела поясница и было «тяготение между крыл». Архиерейское *междукрылие* находится на спине, в том месте, где у обыкновенных людей движутся лопатки. Поэтому «тяготение между крыл», попросту говоря, значило, что у епископа набрякла спина между лопатками, и от этой опухоли, причинявшей больному тяжесть, доктор (кажется, Деппиш) советовал Смарагду лечиться активной гимнастикой. Но какие же гимнастические упражнения удобны и приличны для человека такого высокого, и притом священного, сана? Нельзя же архиерею метать шарами или подскакивать на трапеции. Но Смарагд был находчив и выдумал нечто более солидное и притом патриархальное, а вдобавок и полезное: он пожелал *пилить дрова* с подначальными, которые в его бытность постоянно исполняли при архиерейском доме черные дворовые работы и между прочим пилили и кололи дрова для архиерея и его домовых монахов.

Дьячок Лукьян был при чем-то в сторожах и искал «протекции», чтобы попасть в пильщики, дабы таким образом иметь случай не только встретиться со своим владыкою, но, так сказать, стать с ним лицом к

лицу. Этим способом он надеялся обратить на себя владычное внимание и извлечь из того для себя некоторую существенную пользу. Жандармский вахмистр, силою своих связей с архиерейским домом, все это устроил.

Смарагд избрал для своих упражнений во врачебной гимнастике послеобеденные часы. Прямо из-за стола он шел в сарай, где труждались за топорами и пилою подначальные, и с очередными из пильщиков перепиливал три-четыре, а иногда и пять плах. Так шло уже несколько времени, и хотя епископ неопустительно продолжал свои занятия, но они, вероятно, не оказывали желаемого воздействия на его владычные междукрылия: он все ходил, пригорбясь и насупясь и бе, яко Исав, «нрава дикого, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного».

Дьячок Лукьян, наблюдая все это, впадал от такого архиерейского вида в неописанный страх, который потом вдруг стал переходить в раздражение. Все горести Лукьяна разом точно поднялись у него из сердечной глубины, и он стал так свирепо ругаться, что делалось за человека страшно. Позже он даже начал угрожать чем-то нестаточным, и от его возбужденности действительно можно было ожидать какого-нибудь очень нехристианского поступка.

– Отек очень с сытости, – говорил он непочтительно

о своем владыке, – оттого ничего и не чувствует, а отцы наши все подделываются: самые тоненькие да сухие плашки ему пилить подкладывают. Низкое их обхождение так научает, но дай срок, пусть он первый раз меня за пилою, а не за топором застанет, я его таким поленом разуважу, что будет он меня век помнить.

Мы с товарищем пожелали узнать, что такое именно Лукьян придумал подстроить своему архиерею, и узнали, что подначальный дьякон, полный кипящего мщения к Смарагду, желает подложить ему самые толстые коряги, над которыми бы его преосвященство «хорошенько пропыхтелся». Я и мой товарищ, по своему отроческому легкомыслию, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и достойною тех представлений, какие мы имели о Смарагде, но сильно боялись за предприимчивого Лукьяна, чтобы это не обошлось ему дороже, чем он рассчитывает.

Лукьян, однако, был на такой возвышенной степени воодушевления, что не хотел слушать никаких доводов.

– Ребра он мне, – говорит, – не сокрушит, а что ежели он меня костылем отвозит, то я этого только и желаю, потому что он опосля битья, говорят, иногда сдабривается.

Так он и пошел неуклонно на эту желанную меру сближения с своим архипастырем; а мы все не за-

бывали интересоваться ходом его истории, которая, впрочем, не замедлила принять оборот самый краткий и самый решительный. Лукьян сделал, как намеревался, и в укромном месте, под стеною, в пильном сарае, припас для своего владыки десятка полтора самых толстых суковатых плах. Он тщательно берег этот отбор до того случая, когда Смарагд застанет его за работою и возьмется с ним за другой конец пилы, чтобы разминать свои междукрылия. Случай этот не замедлил. Дня через два после того, как Лукьян сообщил нам о своем смелом предприятии, он явился домой в невыразимом отчаянии и, бросив под кухонную лавку свой желтый шлык, объявил, что «наделал себе беды, какой не ожидал».

– Приходит, – говорит, – владыка, а я пилю с кромской округи попом стареньким; владыка попа прогна-ли: «пошел прочь», говорят, потому он им не по талии, а мне приказали: «клади плаху». Я было оробел и хотел, подобно как и другие-прочие, положить плаху какая собою поделикатнее, но раздумался, что этак я себя долго ни к чему счастливому не произведу, и, благословясь, выхватил из своего амбара штуку самую безобразную. Владыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали резать, два ряда прошли и ряску сняли, говорят, «повесь на колок». А еще ряд отпилили и совсем стали, а я им другую, еще коряжистее, на

козлы положил. Тут он на меня уж таким святителем взглянул, что у меня и в животе заглодело. «Ничего, говорит, ничего, я и эту перепилю, а уж зато ты у меня, скотина, еще целый год в пильщиках останешься». С тем и ушли.

Мы спросили Лукьяна: что же он теперь думает делать? А он в отчаянии отвечал, что и сам не знает, но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой термин держать – потому что, так он надеялся, может быть ему бог поможет на сем тяготении своего владыку раньше года постоянством «преодолеть и замучить».

И точно, прошло не более недели, как «державший свой термин» Лукьян возвратился с веселым видом и объявил, что он «архиерея замучил» и дело о кисейных рукавах, кажется, поправляется.

– Как же это так счастливо обернулось? – спрашиваем.

– А так, – отвечает, – оно обернулось, что я его преосвященство совсем заморил и от болезни их совершенно этими толстыми поленьями выпользовал.

– А по чему, – говорим, – это видно?

– Рассердился и ныне меня, слава богу, так костылем отвозил, что и сейчас загорбок больно.

– За что же это?

– Досадно стало, что характер имею большие пла-

хи класть, и сам мне наклал.

– Что же, – говорим, – тут хорошего?

– Теперь сдобрится.

– А как нет?

– Нет, сдобрится: все, которые опытные, завидуют, говорят: «Экое счастье тебе от святителя! теперь, как сердце отойдет, он твое дело потребует и решит».

Приходит Лукьян на другой день и еще веселее.

– Вчера же, – рассказывает, – дело к себе потребовали.

А еще через день после этого наш Лукьян как вбежал на двор в калитку, так прямо ни с того ни с сего и пошел на руках колесом.

– Отпустил, – кричит, – отпустил, ко двору благословил идти.

– А какое же, – спрашиваем, – было наказание?

– Вовсе без наказания, кроме того, как третьего дня костылем поблагословлял, ничего другого не вменено.

– Да ведь костылем это было не за кисейные рукава, а за другое.

– Ну что там разбирать, что за что выпало! Одно слово: иду благополучный, все равно как плетью да на выпуск. Чего еще надо?

«Плетьми на выпуск» в то время на Руси за большую неприятность не считалось. Нынче русские люди на этот счет немножко избаловались.

Итак, не поучает ли нас этот приснопамятный Лукьян приведенным случаем своей судьбы, что никогда не должно отчаиваться в милосердии русских владык, ибо хотя иные из них и гневны, но и их гневности бывает порою ослабление. И не достоин ли тоже этот, по-видимому, как будто маловажный, случай особенного внимания именно потому, что он был не с каким-нибудь слабохарактерным лицом, а со Смарагдом, о котором в Орле говорили, что он никого не боится и единственно лишь тем уступает московскому митрополиту, что тот «ездит на шести животных, с двумя человеками на запятке». Другой же, менее Смарагда нравный архиерей, конечно, может оказаться еще податливее, если только случай сведет его с человеком, который поведет свою линию как надо. А без сноровки, конечно, ничего не поделаешь не только с архиереями, но даже и со своими собственными детьми.

В подтверждение же моих слов о способности архиереев переходить от гневной ярости к благоуветному добродушию расскажу еще один такой случай о другом архиерее, тоже вспыльчивом и гневном, но укрощавшемся еще легче и проще.

Глава третья

Одна из моих теток была замужем за англичанином Шкоттом, который управлял огромными имениями у гр. Перовского, в восточной полосе России. Англичанин Шкотт был человек очень благородный и добрый, но своеобразный. Он был очень вежлив, но если встречал с чьей-либо стороны грубость и наглость, то не спускал их никому. Еще в молодости он имел в Орловской губернии историю с одним кавалерийском полковником, которого Шкотт просто-напросто прибил за нахальство. Не изменился он в этом отношении и под старость. Когда я жил в П<ензен>ской губернии, он тогда, имея уже шестьдесят лет от роду, вызывал на дуэль губернского предводителя дворянства Арапова, и тот струсил. Шкотт не разделался с ним иначе только потому, что умер. Теперь они оба уже покойники.

Раз летом, не помню теперь которого именно года, дядя Шкотт, строивший *первую* в П<ензен>ской губернии паровую мельницу, купил для нее в селе К. огромные штучные французские жернова, которые были уже скованы крепкими шинами и которых нам очень не хотелось разбирать и сковывать заново. Мы решили катить их целиком и послали приготовленную для

того снасть, лошадей и людей, но вдруг получаем известие, что камни наши, едва отъехав десять верст от К., *проломил мост* и засели в сваях.

Мы с Шкоттом сейчас же поехали на место крушения и, приехав в К. довольно поздно вечером, остановились в доме тамошнего священника, тогда еще очень молодого человека, который был нам и рад и не рад. По личным добрым отношениям к Шкотту он встретил нас весьма радушно, но был встревожен и смущен тем, что преосвященный В<арлаам>, объезжавший в ту пору епархию, ночевал всего в десяти верстах от К. и завтра должен был нагряться со всею ордою провожатых, коих Петр Великий в своем регламенте именовал «несытыми скотинами». Священнику, конечно, было о чем позаботиться: надо было и накормить и разместить «оных несытых скотин». Особенно его затрудняло последнее, так как его сельский домик был очень невелик, а поврежденный мост с застрявшими в сваях камнями не подавал никакой надежды скоро переправить «обонпол потока» архипастырскую карету.

Мы были некоторым образом виновниками тягостных для батюшки осложнений и чувствовали это, но помочь ему не могли ничем, кроме того, что, не претендуя на его гостеприимство в доме, приготовленном «под владыку», легли спать на сеновале. Мы встали

утром чем свет и отправились к изломанному мосту, о поправке которого нельзя было и думать, прежде чем мы найдем какое-нибудь средство снять камень, засевший в проломе настилки, между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, и мы, после многих соображений, решили рассечь шины, которые его связывали в одно целое, после чего он должен был разделиться на штуки и упасть в ручей, откуда уже его предстояло после вытащить и перевезти на колеснях.

Распорядясь этою работою и оставив людей при деле, мы около десяти часов утра возвратились в дом священника, выкупались в реке, съели яичницу и, усталые, кувырнулись на сеновал и заснули. Но только что мы разоспались, как внезапно бысть шум: мы были разбужены разливавшимся над поповкою оглушительным трезвонном колоколов и криком: «Едет! едет! Архиерей едет!»

Было очень любопытно посмотреть, как *он едет?*

С неубранными спросонья головами, заспанными лицами и в сыром, не отчищенном от грязи дорожном платье мы вышли к калитке и увидали, что *он ехал* неважно – на своих на двоих. Попросту говоря, *он шел пешком*, потому что его карета не могла переехать через мост. Зато шел святитель, окруженный толпою, состоявшею человек из двадцати духовных и

недуховных людей, между которыми особенно замечательны были две бабы. Одна из этих православных христианок все подстилала перед святителем полотенце, на которое тот и наступал для ее удовольствия, а другая была еще благочестивее и норовила сама лечь перед ним на дорогу, – вероятно с тем, чтобы святитель по самой по ней прошелся, но *он* ей этого удовольствия не сделал. Сам он представлял из себя особу с красноватым геморроидальным лицом, на котором светились маленькие, сердитые серые глазки, разделенные толстым, дубоватым носом. Во всей фигуре владыки не было не только ничего «святолепного», но даже просто ничего внушительного. Он казался только разгневанным и «преогорченным». Тревожный взор его как будто вопрошал всех и каждого: «Что это такое? Отчего это я могу ходить пешком?»

Дядя Скотт был человек религиозный и даже ездил в русскую церковь, к которой принадлежала его жена и дети, но, на несчастье, он о ту пору был сердит на архиереев. Это вышло по одному, незадолго перед тем случившемся, случаю с дочерью его великобританского друга, мисс Сп—нг. Дело это состояло в том, что мисс Сп—нг, гостя у своих и у наших друзей в Орловской губернии, заболела и, как девушка религиозная, позвала к себе единственное духовное лицо в деревне – приходского священника. А добрый сельский

батюшка не только помазал ее миром и причастил, но и примазал ей это в ее документе, то есть сейчас же «учинил о сем надпись на ее паспорте».

Между тем умиравшая мисс Сп—нг после совершенного над нею тайнодействия не только выздоровела, но вскоре же была помолвлена за сына известного московского английского коммерсанта г. Л—ви. И тут, когда дело дошло до венчания, московский английский пастор набрел на самый неожиданный сюрприз: невеста значилась «*православною*». Обе английские семьи и весь московский английский приход, не сумев достойно оценить это обстоятельство, пришли в непонятное смятение и ужас. И вот пастор с моим дядею отправились к митрополиту Филарету Дроздову «отпрашивать» присоединенную по неведению англичанку, но митрополит им отказал. Тогда дело поправили иначе — гораздо легче и проще. Горю помог в этом случае один московский квартальный, указавший средство переписать оправославленную невесту снова в ее прежний еретический англиканизм. Секрет, сколько припоминаю, состоял в том, что паспорт англичанки с надписью о ее присоединении *утратили* и вытребовали ей новый, на котором никакой надписи о присоединении не было. Так ее и перевенчали как *будто англичанку*, хотя благодать православия на ней, разумеется, осталась и до сего дня. Но все-таки

московских англичан Леонтьевского переулка все эти хлопоты сердили, и дядя Шкотт был, по его словам, «зол на архиереев» и дал слово не иметь с ними никаких дел. Однако нижеследующий случай заставил его нарушить это слово.

О местном пензенском архиерее Варлааме мы кое-что знали, но по преимуществу только смешное. Он отличался независимостью в расправе с подчиненными и вообще разнообразно чудесил. Так, например, он целую зиму клал у себя в спальней соборного протоиерея О-на для того, чтобы отучить этого старичка от нюхания табаку даже в ночное время. Впрочем, некрологи этого архиерея говорят о нем разное, но в Пензе он слыл за человека грубого, самочинного и досадительного.

Мы им, разумеется, особенно нимало не интересовались, но тут нам захотелось посмотреть, не покажет ли он при настоящем случае какое-либо чудодейство? И вот мы с дядею Шкоттом вошли вслед за процессиею в церковь, конечно никак не ожидая, что его преосвященство постарается показать себя именно насчет одного из нас.

Когда мы вошли в церковь, недовольный путешествием архиерей жестоко шумел на кого-то в алтаре и покрикивал так интересно, что мы постарались подойти поближе и стали на левом клиросе. Царские вра-

та были открыты, и до нас свободно долетали слова: «пес, дурак, болван», которые, кажется, главным образом выпадали на долю отца-настоятеля, но, может быть, по частям доставались и другим лицам освященного сана. Но вот, наконец, епископ, все обозрев и сделав все распоряжки в алтаре, вышел на солею, у которой стояли ктитор и еще человека два-три не из духовных. Здесь же находилась и «матушка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвященство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всем по рукам благословение, спрашивал каждого: «чей такой?» или «чья ты?» и раздав эти благословения, на низкий поклон и привет матушки ответил:

– Ступай, готовься, – приду.

И затем он вдруг неожиданно обратился к нам, смиренно стоявшим на левом клиросе, и громко крикнул:

– А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старик?

Англичанин мой замотал головою, что у него обыкновенно бывало признаком неудовольствия, и неожиданно для всех ответил:

– А ты чего кричишь, старик?

Архиерей даже покачнулся и вскрикнул:

– Как? Что ты такое?

– А ты что такое?

Шумливый епископ как будто совсем потерялся и,

ткнув по направлению к нам пальцем, крикнул священнику:

– Говори: кто этот грубец? (sic).³

– Грубец, да не глупец, – отвечал Шкотт, предупредив ответ растерявшегося священника.

Архиерей покраснел, как рак, и, защелкав по палке ногтями, уже не проговорил, а прохрипел:

– Сейчас мне доложить, *что это* такое?

Ему доложили, что *это* А. Я. Шкотт, главноуправляющий имениями графов П<еров>ских. Архиерей сразу стих и спросил:

– А для чего он в таком уборе? – но, не дождавсь на это никакого ответа, направился прямо на дядю.

Момент был самый решительный, но окончился тем, что архиерей протянул Шкотту руку и сказал:

– Я очень уважаю английскую нацию.

– Благодарю.

– Характерная нация.

– Ничего: хороша, – отвечал Шкотт.

– А что здесь случилось, прошу покорно, пусть остается между нас.

– Пусть остается.

– Теперь же прошу к священнику: откушать вместе моего дорожного чаю.

– Отчего не так? – отвечал дядя, – я люблю чай.

³ Так (лат.)

– Значит, обрусели?

– Нет, – значит – чай люблю.

Преосвященный хлопнул дядю по-товарищески по плечу и еще раз воскликнул:

– Ишь, какая характерная нация! Полно злиться!

А затем он оборотился ко всем предстоявшим и добавил:

– А вы ступайте по своим местам.

И наговорившие друг другу комплиментов англичанин и архиерей долгонько кушали чай и закусывали «из дорожных запасов» владыки, причем его преосвященство в это время не раз принимался хлопать Шкотта по плечу, а тот, не оставаясь в долгу, за каждую такую ласку в свою очередь дружески хлопал его по стомаху. Оба они остались друг другом столько довольны, что на прощанье братски расцеловались, причем Шкотт так сильно сжал поданную ему архиереем руку, что тот сморщился и еще раз вскрикнул:

– Ох, какая здоровая нация!

Так все это мирно и приятно кончилось в мимолетном свидании этого архипастыря с англичанином, а между тем этого самого архиерея иные его современники представляли человеком и злым и желчным, да и позднейшие некрологи не могут согласиться в его оценке. Я же более согласен с тем из них, который старается доказать, что преосвященный В<арла-

ам> имел очень доброе сердце. По крайней мере я не вижу причины, которая не позволила бы мне заключить, что этот человек владел золотой способностью делаться очень незлобивым, *если* чувствовал, что имеет дело с человеком, принадлежащим к «здоровой нации». А в таком случае очень возможно, что те, которым он казался неукротимым, вероятно, только не умели себя с ним держать. Не надо забывать старого правила: «кто хочет, чтобы с ним уважительно обходились другие, тот прежде всего должен уважать себя сам».

Мне кажется даже, что его преосвященство имел несколько высокий для русского человека идеал гражданского общества, и потому-то именно он и раздражался презренным низкопоклонством и лестью окружающих. Он хотел видеть людей более стойких и потому, встретясь с человеком «здоровой нации», сейчас же пришел в отрадное состояние удовлетворения. Если бы он ранее встречал подобное со стороны русских людей, то, наверно, и они могли бы привести его в такое же доброе расположение. И это, может быть, самый удачный вариант, которым, мне кажется, напрасно не воспользовался духовный апологет преосвященного В<арлаама>.

Глава четвертая

Были также не раз высказываемы жалобы, будто архиереи порою обнаруживают *неодолимую* упорность в невнимании к жалобам прихожан на неудовлетворяющее сих последних приходское духовенство. Было говорено именно так, что упорство этого рода бывает «неодолимо». Мне, с моей точки зрения, и это кажется преувеличенным, и я постараюсь представить на это пример в пользу моего мнения.

На этот раз мы будем вести речь об особе очень большой, особе, ездившей «на шести животных с двумя человеками на запятках», об особе, имевшей видную роль в истории, известной во всех родах литературы и во всех подвигах веры, не исключая строжайшего постничества.

Об этом владыке злые языки говаривали (что даже где-то было и напечатано), будто он «ел по одной просфоре, но целым попом закусывал». Эта злобная выходка так при нем и осталась. А между тем один маленький случай, который я хочу здесь рассказать, может свидетельствовать, что владыка едва ли имел приписываемый ему странный аппетит «целым попом закусывать». И он, как увидим, иногда стоял за своих попов, и даже очень твердо.

У графини В<исконти>, дочери известного партизана Дениса Давыдова, в свое время очень изящной и бойкой светской дамы, в одной ее М-ской деревне завелся не в меру деньголюбивый поп. Он притеснял крестьян графини до того, что те вышли из терпения и не раз уже на него жаловались, но или жалобы крестьян не доходили по назначению, или же у попа при владыке, как говорят, была «своя рука». Но как бы там ни было, а только приход никак не мог избавиться от своего грабителя. О том же, чтобы унять его нестерпимое корыстолюбие, не могло быть и речи, так он «в сем заматорел, будучи в летах преклонных».

Но вот приехала из-за границы навестить свои матерности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая в Париже. Крестьяне тотчас же пали ей в ноги, умоляя ее сиятельство «стать за отца за мать: ослобонить их от ворага», причем, разумеется, рассказали все, или по крайней мере многие, проделки «ненасытного» пастыря.

Графиня вскипела и позвала к себе «ненасытного», но тот не только не покаялся, а еще оказался искусным ответчиком и нагрубил барыне вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчас же написала обо всем этом самое энергическое письмо владыке и была уверена, что его преосвященство непременно обратит внимание на ее справед-

ливую просьбу, а может быть, даже и сам ей ответит с галантною вежливостью монсиньора Дарбуа. Но русский владыка, конечно, был не того духа, как архиепископ парижский. Наш владыка был обременен безмерною мудростью, тяжесть которой не позволяла ему быть скороподвижным, а внимательностью к просьбам он никого не баловал. Будучи мудр от молодых ногтей, он, по преданиям, еще в юности употреблял поговорку: «скорость потребна только блох ловить». Он не делал исключения даже для спасения утопающих, где тоже «потребна» скорость. Тяжелая медлительность этого Фабия Кунктатора была чертою его расчетливого и осторожного характера, а теперь ее, кажется, хотят сделать даже стимулом его святости.

Судя по отзывам панегиристов покойного, можно думать, что он не изменил бы этому своему правилу даже в том случае, если бы миру угрожал новый потоп и от его преосвященства зависело бы заткнуть дыру в хлябях небесных. Он и тогда не ускорил бы движение перста, и тогда продолжал бы в самоуглублении созерцать

...вдали козни горького зла,
Тартар, ярящийся пламень огня, глубину вечной
ночи,

Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.⁴

Некто, знавший его более других, сказал, что владыка был «прежде всего и после всего *монах*», и притом самый строгий, «*истовый*» монах, ставивший свой аскетизм выше всех своих обязанностей духовного администратора. И вот с такою-то нерушимой скалою аскетизма предстояло вступить в состязание молодой, красивой женщине, полупарижанке, избалованной своими успехами в свете, где поклонялись ее веселому остроумию, красоте и очень оригинальной независимости характера.

Бой мог быть интересным, но с первого же шага обещал быть неравным. Владыка не отвечал графине: он или совсем не удостоил внимания ее письмо, или же ее хлопоты о каких-то притеснениях, чинимых попом каким-то крестьянам, казались ему «суетными». А может быть, и самое нетерпение крестьян представлялось ему «малодушеством», к которому он стоически относил все человеческие скорби и несчастья. Но графиня, привыкшая к иному с нею обхождению, обиделась и послала его преосвященству другое письмо, за другим третье, четвертое, пятое, десятое... Владыка все не отвечал ни одним словом,

⁴ «Увещательная песнь св. Григория Богослова», стихотворный перевод митрополита Филарета Дроздова. (прим. Лескова).

и ни о каком распоряжении к удовлетворению просьбы графини вести не было.

Не оставалось сомнения, что владыка так и преодолет даму, покрыв пыл ее светского негодования своим молчаливым безучастием «истового монаха».

Но на этот раз нашла коса на камень. Оскорбленная невниманием владыки, графиня не хотела ему «подарить» этого, и, как только приспел час ее отлету с милого севера к своим сезонным удовольствиям в Париж, она призвала безутешных крестьян и дала им слово «сама быть у владыки и не уйти от него до тех пор, пока поп будет смещен».

Крестьяне откланялись графине на ее ласковом слове, но едва ли верили в возможность его исполнения.

Судьба, однако, определила иначе.

Графиня повела дело своих крестьян с свойственной ей энергиею и нетерпеливостью. Она и мысли не допускала, чтобы это смело задержать ее в городе более трех-четырех часов, которые она могла пожертвовать крестьянам в ожидании поезда, приближавшего ее к границе. Поэтому она тотчас же с дороги переделась в черное платье и в ту же минуту полетела к владыке.

Время было неурочное: владыка *никого* не принимал в эти часы, но келейник, очутясь перед такою

ослепительною в свою пору дамою, с громким титулом и дышащим негодованием энергическим лицом, оплошал и отворил перед ней двери.

Ей только и надо было.

Графиня смело вошла в зал и, сев у стола, велела «*попросить* к себе владыку».

– Попросить!.. – Келейник только руки развел... – Будто же так говорят! – но гостья стояла на своем: «сию же минуту *попросить* к ней владыку, так как она приехала к нему *по делу церкви*».

– По церковному делу пожалуйста завтра, – упрашивал ее шепотом келейник.

– Ни за что на свете: я сейчас, сию минуту должна видеть владыку, потому что мне некогда; я через полтора часа уезжаю и могу опоздать на поезд.

Келейник увидал спасение в том, что графиня не может долго ожидать, и с удовольствием объявил, что теперь владыку решительно нельзя видеть.

– Это ложь, он меня примет, Я требую, чтобы вы сейчас обо мне доложили.

– Помилуйте, спросите у кого угодно, принимает ли кого-нибудь владыка в эти часы? и вы изволите убедиться...

– Нет, это вы изволите убедиться, что вы говорите ложь! Сейчас прошу обо мне доложить, или вы увидите, как я сумею вас заставить делать то, что состав-

ляет вашу обязанность.

– Воля ваша, но я не могу.

– Не можете?

– Не могу-с, не смею.

– Хорошо!

С этим графиня быстро поднялась с места, сбросила с плеч мантилью и, подойдя к висевшему над столом зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейник смешался и уже умоляющим голосом заговорил:

– Что это вам угодно делать?

– Мне угодно снять мою шляпу, чтобы было спокойнее, и терпеливо ожидать, пока вы пригласите ко мне вашего владыку.

– Но я... извините... я не имею права вас здесь оставить...

Но на это графиня уже совсем не отвечала: она только обернулась к келейнику и, смерив его с головы до ног презрительным взглядом, повелительно сказала:

– Отправляйтесь на свое место! Я устала вас слушать и хочу отдохнуть.

– Отдыхать?!

Послушник совсем опешил: сатаны в таком привлекательном и в то же время в таком страшном виде он

еще не видал во всю свою аскетическую практику, а графиня между тем достала бывший у нее в кармане волюмчик нового французского романа и села читать.

Что бы решился предпринять еще далее против этого наваждения неопасливый келейник, – это неизвестно. Но, к его счастью, затруднительному его положению *поспешил* на помощь сам дипломатический владыка.

По рассказу графини, только что она раскрыла свою книгу, как келейник стих, а в противоположном конце зала что-то *зашуршало*.

– Я, – говорит графиня, – догадалась, что это, может быть, *сам он* идет на расправу с моим сорванством, но притворилась, что не замечаю его появления, и продолжала смотреть в книгу. Это его, конечно, немножко затрудняло, и я этим пользовалась. Он не дошел до меня на кадетскую дистанцию, то есть шагов на шесть, и остановился. Я все продолжаю сидеть и гляжу в мою книгу, а сама вижу, что он все стоит и тихо потирает свои как будто зябнущие руки... Мне стало жалко старика; и я перевернула листок и как бы невзначай взглянула в его сторону. Посмотрела на него, но не тронулась с места, делая вид, как будто я не подозреваю, что это сам он. Это было для меня тем более удобно, что он был в одной легкой ряске и каком-то колпачке.

Увидав, что я смотрю на него (продолжаю словами графини), он пристально вперил в меня свои пронизательные серые глазки и проговорил мягким, замирающим полусшепотом:

«Чем могу вам служить?»

«Мне нужно видеть владыку», – отвечала я, по-прежнему не оставляя своего места и своей книги.

«Я тот, кого вы желаете видеть».

«А, в таком случае я прошу у вашего высокопреосвященства благословения и извинения, что я вас так настойчиво беспокою».

И, бросив на стол свой волюм, я подошла под благословение: он благословил и торопливо спрятал руку, как бы не желая, чтобы я ее поцеловала; но на мое извинение не ответил ни слова, а продолжал стоять столбушкой.

«О, нет же, – подумала я себе, – так в свете не водится: объяснение в подобной позиции мне неудобно», – и я, отодвинув от стола свое кресло, пригласила его преосвященство сесть на диван.

Он моргнул раза два глазами и проговорил:

«Я вас слушаю».

«Нет, – отвечала я, – вы извините меня, владыко: я не могу так с вами говорить. Это неудобно, чтобы я сидела, а вы меня слушали стоя. Усердно вас прошу присесть и сидя меня выслушать».

При этом я, как бы опасаясь за его слабость, позволила себе подвести его за локоть к дивану.

Он не сопротивлялся и сел на диван, а я на кресло.

Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы — я его невниманием, а он моим нахальством, и оба несколько времени молчали.

Я начала первая и, скоро овладев собою, рассказала ему, кажется, о всех главнейших обидах, какие терпят от его попа мои крестьяне; я просила во что бы то ни стало взять от нас этого обиралу и дать вместо него в мое село лучшего человека.

Во время всего моего рассказа я наблюдала владыку и видела, что он решил себе ни за что не исполнить моей просьбы. И тут моя врожденная отцовская вспыльчивость сказалась во мне до того решительно, что я способна была наговорить ему таких вещей, о которых, конечно, сама после бы жалела. Но я собрала все свои силы и ждала ответа, который последовал поспешно и, по моим понятиям, в высшей степени возмутительно.

Он опять начал потирать свои руки, взмахнул веками, а потом опять их опустил и опять взмахнул, и тогда только заговорил с медлительными расстановками:

«Я получил... ваши письма...»

Воспользовавшись первою паузою, я заметила, что «сомневалась в судьбе моих писем и очень рада, что

они дошли по назначению». А в сущности это меня еще более бесило.

«Да, они дошли, – продолжал он, – я опасаясь, что вы вовлечены в заблуждение...»

«О, будьте покойны, владыко, я не заблуждаюсь. все, что я вам писала и что теперь говорю, – это сущая правда».

«На духовенство... часто клеветают».

«Очень может быть, но я сама была свидетельницей многих поступков этого нечестного человека».

При словах «нечестный человек» владыка опять взмахнул веками и, остановив на мне свои серые глаза, укоризненно молчал. Но видя, что я смотрю ему в упор, и, может быть, заметив, что во мне хватит терпения пересмотреть и перемолчать его, он произнес:

«И при собственном видении... все еще возможна... ошибка».

«Нет, извините, владыко, я знаю, что в том, о чем я вам говорю, нет ошибки».

Он опять замолчал и потом произнес:

«Но я должен быть... в этом удостоверен».

«Что же вам угодно будет считать достаточным удостоверением?»

«Я велю спросить благочинного... и тогда распоряжусь».

«Но это будет не скоро, и, вы простите меня, я не

думаю, чтобы благочинный, его родственник, был более достоверным свидетелем, чем я, дочь человека, известную правдивость которого ценил государь, или чем мои крестьяне, страдающие от попа-лихоимца».

От последнего слова владыка пошевелился и, как бы желая встать, прошептал:

«Я чту память вашего родителя, но... дела должны идти в своем порядке».

«Так дайте хотя средство унять его как-нибудь, пока это дело будет переходить свои несносные порядки!» – сказала я, чувствуя, что более не могу, да и не хочу владеть собою...

«Прикажите сказать ему... моим именем, что мне... о нем доложено».

«Для него ничего не значит ваше имя».

Владыка остановил свои ручки, но терпеливо ответил:

«Это... не может быть».

«Нет, извините: я не приучена лгать, и если я вам это говорю, то это именно так и есть. Я ему давно говорила, что буду вам жаловаться, но он отвечал: „Владыка нам ни шьет, ни порет, а нам пить-есть надо“.»

И только что я это проговорила, как тихий голос владыки исчез и угасший взгляд его загорелся: он пристально воззрился на меня во все глаза и, точно вырастая с дивана, как выдвигной великан в цирке, про-

изнес звучным, сильным и полным голосом:

«Он вам это сказал?!»

«Да», – отвечала я, – он сказал: «владыка нам ни шьет, ни порет...»

И не успела я повторить всей фразы, как в дрожащей руке владыки судорожно зазвенел серебряный колокольчик, и... я через полчаса могла со станции железной дороги послать в деревню известие, что корыстолюбивый поп от нас уже взят.

Этот незначительный случай, я думаю, может показать, с одной стороны, что наши владыки очень осторожны в своих расправах с духовенством и склонны к решительным мерам только тогда, когда узнают о недостатке субординационной почтительности в иерархии. С другой же стороны, отсюда можно видеть, что при всей прозорливости наших епископов, каковою, по мнению многих, особенно отличался сейчас упомянутый святитель, и они, эти высокоблагодатные люди, все-таки могут погрешать и быть жертвами своей доверчивости. Так это и случилось в рассказанном мною случае. Корыстолюбивый поп, виновный во множестве дурных поступков, не виноват был только в том, что ему навязала приведенная в азарт графиня: *он никогда не говорил погубивших его слов, что «владыка ему ни шьет, ни порет».*

Глава пятая

Однако, если бы предшествовавший случай был поставлен в вину владыке, который так незаметно попал в женские сети, то не надо забывать, что этих опасных сетей иногда не избегали даже и такие святые, которые творили чудеса еще заживо. Но зато у нас известны и другие епископы, которых никакие жены не могли уловить в свои сети. Один из таковых, например, достойный Иоанн Смоленский, о котором ходит следующий анекдот.

Вскоре по прибытии его в Смоленск, даже едва ли не после первой совершенной им там службы, две местные «аристократки» пожаловали в его приемную и приказали о себе доложить.

Архиерей между тем уже успел снять рясу и сел с стаканом чая к своему рабочему столу, на котором, вероятно, написаны многие из его вдохновенных и глубоких сочинений.

Услыхав доклад о посетивших его дамах, Иоанн удивился их желанию его видеть и, не оставляя своего места, приказал докладчику спросить их, что им нужно.

Тот вышел и через минуту возвратился с ответом, что дамы пришли «за благословением».

– Скажи им, что я сейчас всех благословил в церкви.

Келейник пошел с этим ответом, но опять идет и докладывает, что «дамы желают особо благословиться».

– Скажи им, что моего одного благословения на всех достаточно.

Келейник пошел разъяснять беспредельность расширяемости архиерейского благословения, но снова идет назад с неудачей.

– Требуют, – говорит, – чтобы их *особенно благословили*.

– Ну, скажи им, что я их и особо благословляю и посылаю им это мое особое благословление чрез твое посредство.

Но келейник пошел и опять возвращается.

– Они, – докладывает, – и теперь не уходят.

– Чего же им еще нужно?

– Говорят, что желают поучения.

– Попроси извинить, я устал, а поучение им в церкви скажу.

Но келейник опять возвращается.

– Еще что? – спрашивает епископ.

– Недовольны, говорят: «мы для домашней беседы пришли».

Преосвященный, продолжая оставаться за рабо-

чим столом, протянул руку к полке, на которой у него складывались получаемые им газеты, и, взяв два номера «Домашней беседы» г. Аскоченского, сказал келейнику:

– Дай им поскорее «Домашнюю беседу» и скажи, что я тебе не позволяю мне о них более докладывать.

Дамы удалились и никогда более не возвращались для домашней беседы с епископом, который зато с этой поры стал слыть у некоторых смолян нелюдимым и даже грубым, хотя он на самом деле таковым не был. По крайней мере люди, знавшие его ближе, полны наилучших воспоминаний о приятности его прямого характера, простоты обхождения, смелого и глубокого ума и настоящей христианской свободы мнений.

Повторяемый же в рассказах о нем вышеприведенный анекдот с двумя смоленскими дамами, кажется, нет нужды относить к *нелюдимству* покойного епископа. Его, может быть, скорее надо отнести к тому чувству, какое должны были возбуждать в этом умном человеке праздные доуки так называемых «архиерейских барынь», которые, к сожалению и к унижению своего пола, еще и до сих пор в изобилии водятся повсюду, где есть владыки, склонные напрасно баловать таких особ своим вниманием и тем поощрять и развивать в них суетность, не распознающую благо-

честия от святошества.

Этот анекдот также должен относиться не к укоризне нашим епископам, а, напротив, к похвале их проницательности, и он, по моему мнению, прекрасно поясняет собою анекдот о приеме, которого достигла графиня В<исконти>. Смоленские дамы, докучавшие епископу, так сказать, по ханжеской *рутине*, встретили твердый отпор и были отосланы к «Беседе» г. Аскоченского, а графиня В<исконти>, настойчиво действовавшая *по вдохновению*, была принята и удовлетворена, как требовало дело.

Кто бы что ни говорил, но такая способность отстранить с твердостью мертвящую рутину и отдать должное живому вдохновению, конечно, говорит в пользу, а не во вред того высокого представления, какое нам приятно иметь о наших иерархах, положение коих часто бывает очень трудно и очень неприятно. В обществе этого и не воображают, потому что в обществе не знают множества тягостных мелочей архиерейского обихода.

Глава шестая

Дамы, даже очень благочестивые, не исключая принявших сан «ангельский», имеют удивительную способность доводить наших святителей до прегрешений, которых те, по своей известной солидности, конечно, ни за что бы без женской доуки не сделали. Так, например, о покойном «русском Златоусте» Иннокентии Таврическом (Борисове) известно, что он был человек не только умный и даровитый, но и до того свободомысленный, что, бывши киевским ректором, прощал и покрывал грубые кощунственные выходы В. И. Аскоченского, а в письмах своих к Максимовичу, даже прежде Флуранса, вступался за «душу бедных животных». Анекдотов о его либерализме было много и они достоверны, хотя добрая их половина свидетельствует, что этот замечательный человек был несвободен от некоторого, в своем роде хлыщеватого фатовства.⁵ Однако все это можно совместить

⁵ Так, например, едва ли многие знают, что изумлявшая современников *разносторонность* сведений знаменитого Иннокентия часто почерпалась им на краткосрочное подержание из карманной французской «Энциклопедии мыслей». «Русский Златоуст», отправляясь куда-либо, где ему предстояло блеснуть, подготовлялся по этой книжке, которая, говорят, и найдена в столе преосвященного после его смерти. «Воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть» (прим. Лескова).

и помирить с многосторонностью увлекавшейся художественной природы Иннокентия. Но вот чему совершенно трудно поверить, – это что высокопросвященный либерал Иннокентий мог хоть раз в жизни драться, и притом драться весьма демократически, сердитее и азартнее прославившегося в этом деле Смарагда или блаженной памяти уфимского Августина, который, говорят, бивал архимандрита Филарета Амфитеатрова, бывшего впоследствии киевским митрополитом. И что же: кто довел до такого поступка нашего даровитейшего витию Иннокентия? Женщина, и вдобавок инокиня, и даже игуменья.

Один сотрудник преподобного Иннокентия по переводу богослужебных книг на зырянский язык рассказывал мне и многим другим следующую энергическую расправу «русского Златоуста». Владыка Иннокентий служил как-то в вологодском или в устюжском женском монастыре, сестры которого вместе с своею игуменьею поднесли ему за это довольно ценный образ. Зная скудость средств бедной обители, Иннокентий не захотел принять этого ценного и притом ему совершенно ненужного подарка. Он усердно поблагодарил мать игуменью и сестер, но икону просил их оставить у себя. Верно, он думал, что они найдут как-нибудь средство реализовать произведенные на нее затраты: поступок, конечно, благоразум-

ный и вполне достойный памяти Иннокентия. Послушайся благочестивые сестры обители своего доброго и рассудительного архипастыря – все бы прекрасно и обошлось. Но им это пришлось не по обычаю, и они-таки доставили образ в архиерейский дом, где одна из именуемых петровским регламентом «несытых архиерейских скотин» за известную мзду взялась передать тот образ владыке и якобы это и исполнила. Благочестивые сестры добились своего и успокоились.

Прошло немало времени; владыка занимается своими учеными трудами и сверяет с сотрудником зырянские книги, как вдруг однажды ему понадобился его келейник, который, как на грех, на ту пору отлучился и не явился по владычному зову. Сотрудник хотел пойти и позвать его, но скорый Иннокентий предупредил и сам прошел в келейницкую, где думал застать своего служку спящим. Но келейника он тут не нашел, а зато нашел на его стене знакомый образ, сооружения сестер вологодской обители. Владыка вскипел и, призвав келейника, сию же минуту *избил* его не только руками, но и *ногами*. Раздраженный епископ бил взяточника до изнеможения сил и, престав от сего делания, сейчас же послал сию самую «несытую скотину» отнести игуменье образ, которым эта назойливая женщина, по своему непослушанию и упрямству, довела своего владыку до такого гнева, что он, по сло-

вам очевидца, «несмотря на свой досадительно малый рост, являл энергию и силу Великого Петра».

Поступок, конечно, горячий и не архипастырский, но не нужно и не должно забывать, что все это происходило в оные, относительно недавние, времена, когда считалось неблагоприятным, чтобы духовный правитель имел у себя даже для чистки сапог и других домашних услуг простого наемного человека, который удобнее тем, что он привычнее к лакейскому делу и не пользуется в глазах невежд авторитетом лакея монашествующего. Тогда архиерей непременно должен был терпеть при себе если не ту, так другую «несытую скотину», облеченную в долгую одежду и препоясанную по чреслам поясом усменным. Этого требовал закорузлый этикет владычных домов, об упразднении которого, впрочем, еще и поныне скорбят иные ханжи и пустосвяты.

Теперь все это уже отошло в область минувшего: нынче уж не слышать, чтобы архиереи дрались; вероятно, они не дерутся, да и не будут драться.⁶ И в

⁶ Слова эти, к крайнему моему удивлению, вызвали самое неожиданное опровержение из Москвы, где, как нарочно, на этот грех один из тамошних святителей в октябре месяце 1878 г. «избил в кровь какого-то монаха, отца Меркурия». – Такая опрометчивость с моей стороны поставлена газетами мне на вид («Новости», 4 ноября 1878 г., № 282), и я должен повиниться, что никаких оправданий принести не могу. Я думал, что архиереи не будут более драться, но вышло, что я ошибся. (прим.)

этом опять нельзя не видеть их важного преимущества перед всеми обыкновенными смертными: обыкновенные люди на Руси, по общим приметам, посмирнели со временем введения мировых учреждений, – говоря простым языком, они «испугались мирового», но архиерею мировой не страшен. Если бы случилось, что нынче кого-нибудь прибил бы архиерей, то побитый напрасно пошел бы жаловаться к мировому – мировой архиерею не судья. Архиерей превыше суда мирского и потому страхов его не страшится и не боится.⁷ Всеобщий русский укротитель, наш мировой, несомненно не укрощал ни одного архиерея – архиерей сам себя укротил и засмирел. Отчего же это! Что так благотельно подействовало на архиерейские нравы? Некоторые указывают как на причинное в этом событие на соборную историю калужского епископа Григория, которого кинулся бить недовольный им дьячок. Но это, очевидно, такое же случайное происшествие, как и другая соборная история киевская, когда была провозглашена анафема епископу Филарету Фларетову (впоследствии епископу рижскому), и третья история в петербургском соборе с викари-

Лескова).

⁷ Происшествие с московским о. Меркурием это подтвердило. О. Меркурий, как писано о нем, не нашел никакой справки на избившего его святителя. Известие это в органе св. синода, сколько я знаю, не опровергнуто (*прим. Лескова).*

ем Добронравиным, в которого был брошен камень. Все это происшествия чисто случайного характера, каковые бывали и прежде, но на архиереев не производили нынешнего отрадного влияния.⁸ А потому в заметном нынешнем самоукрощении особ этого сана, я думаю, нельзя считать виновниками раздражительных маньяков, возглашающих архиереям анафемы или мечущих в них камни. Мне кажется, что, может быть, гораздо основательнее видеть здесь влияние общего *духа времени*, который, как бы он кем ни понимался и ни истолковывался, но, по прекрасному выражению И. С. Тургенева, оказывает на всех неодолимое давление, побуждая всякое величие *опроцаться*. Правда, что некоторые из особ гражданских и военных до сих пор еще как бы этого не чувствуют и, опять по выражению того же Тургенева, продолжают в военном генеральстве «хрипеть», а в статском «гундосить»: но архиереев и нельзя ставить с этими на одну доску; так как между архиереями, несмотря на

⁸ Охотники видеть во всякой такой случайности что-то «систематическое» забывают харьковский случай, когда анафему архиерею хватил посреди собора в день православия его же соборный протодиакон. Но тут систематического было только то, что прежде чем хватить анафему своему архиерею, отец протодиакон хватил дома что-то другое, без чего будто бы этим особам «нельзя выкричать большое служение». Епископ Филарет Гумилевский (историк церкви), которого это всех ближе касалось, однако, очевидно, не считал это ни за что систематическое: он хотя и наказал виновного, но не строго и не мстительно (*прим. Лескова*).

их владычное своенравие, всегда были и есть люди по преимуществу умные, и потому нимало не удивительно, что направление времени ими почувствовано сильнее, чем другими. Тот бы глубоко заблуждался, кто хотел бы настаивать, будто архиереи изменились поневоле и с напуга. У них не может быть никакого напуга. Живой русский такт, присущий этим людям, выросшим на русских поповках и погостях, дает им верную оценку всяких событий, в которых, несмотря на их порою заносчивый характер, нет ничего способного напугать настоящего русского человека, знающего Русь, как она есть. Нет, архиереи *опростились* просто потому, что все живое и все желающее еще жить теперь опрощается, по неодолимому закону событий, которых никакие тайные гундосы не могут ни остановить, ни направить по иному направлению. Так называемый *престиж* потерялся в заботах тяглой жизни, и его не только не для чего искать, но даже и не у кого более искать. Даже те, которые были окутаны этим *престижем* с ног до головы, и тем «сие оружие оскудеша вконец». Остается еще какое-то русско-татарское кочевряженье, но и оно уже никому не внушает ни почтения, ни страха. «Жизнь – по выражению поэта (И. С. Никитина) – изнашивает в заботе о хлебе».

Русь хочет *устраиваться*, а не *великаться*, и изменить ее настроение в противоположном духе

невозможно. Кто этого не понимает, о том можно только *жалеть*...

Понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам – это не значит раболепствовать воле масс; нет, это значит только чувствовать потребность «одной с ними жизнью дышать и внимать их сердец трепетанью». И наши лучшие архиереи этого хотят.

Откидывая насильственно к ним привитой и никогда им не шедший византийский этикет, они сами хотят *опроститься* по-русски и стать людьми народными, с которыми по крайней мере отраднее будет ждать каких-либо *настоящих* мер, способных утолить нашу религиозную истому и возвратить изнемогшей вере русских людей дух животворящий.

Затем снова продолжаем передвигать нашу портретную галерею, открывая новое ее отделение лицами иного «благоуветливого» характера.

Глава седьмая

Самая неукротимая, желчная раздражительность оных «бывых» епископов никак не может быть строго осуждаема без внимания к некоторым тяжким условиям их, по-видимому, счастливого и даже будто бы завидного положения. Теперь, когда, благодаря новому порядку вещей, в судах резонно и основательно ищут снисхождения, а иногда и полного оправдания преступных деяний, совершенных в состоянии болезненного раздражения, вызванного ненормальностью функций организма, несправедливо и жестоко было бы не применить этого, хотя в некоторой степени, к людям, осужденным вести жизнь самую вредную для своего здоровья, от которого, по уверениям ученых врачей, весьма много зависит и расположение духа и сила самообладания.

Я смею думать, что такое внимание было бы со стороны общества только справедливостью, в которой оно не должно отказывать никому, в каком бы он ни находился звании. И причину думать таким образом я имею на основании слов одного очень умного и прямодушного архиерея, о котором мы сейчас будем беседовать.

Но прежде скажу два слова о нелепом представ-

лении, существующем у многих людей, о так называемом «архиерейском счастье» и о «привольностях владычной жизни», которая на самом деле гораздо тягостнее, чем думают.

Надо признаться, что русские миряне, часто ропща и негодуя на своих духовных владык, совсем не умеют себе представить многих тягостей их житейской обстановки и понять значение тех условий, от которых владыки *не могут освободиться*, какова бы ни была личная энергия, их одушевляющая. Так называемые «светские люди» видят только одну сторону епископского житья – так сказать, «казовый его конец», а никогда не промеряли всей материи. В некоторых мирских кружках, где суждения особенно неразборчивы, но смелы, считают «архиерейское житьё» верхом счастья и блаженства. Простолюдины, например, говорят обыкновенно о том, «какие важные рыбы архиереи едят и как, поевши, зобов не просиживают». А между тем какая мука и досада хоть бы с этим «счастьем» «есть» и съеденного «не просиживать».⁹

⁹ Впрочем, в самом сказании об архиерейских рыбах тоже немало преувеличенного и даже баснословного. Так, например, рассказывают в народе, будто на «коренную» ярмарку (под Курском) съезжаются архиерейские повара и отбирают для своих владык «всю головку», то есть весь первый сорт проковой копченой и вяленой рыбы, преимущественно белужьего и осетрова балыка; но, разумеется, все это вздор. Встарь, говорят, что-то такое бывало, но уже давно минуло. Встарь, как видно

Один из наших молодых епископов, известный уже своими литературными трудами, усердно возделывал сад при своем архиерейском доме. Гости лето в том городе и часто посещая его преосвященство, я почти всегда заставлял его или за граблями, или за лопатой и раз спросил: с каких пор он сделался таким страстным садоводом?

– Ничуть не бывало, – отвечал он, – я вовсе не люблю садоводства.

– А зачем же вы всегда трудитесь в саду?

– Это по необходимости.

Я полюбопытствовал узнать: по какой необходимости?

– А по такой, – отвечал он, – что с тех пор, как учинившись архиереем, я лишен *права двигаться*, то начал страдать невыносимыми головными болями; жи-рею, как каплун, и того и гляжу, что меня кондрашка

из записок Гавр. Добрынина, между архиереями действительно бывали не только любители, но и знатоки тонкого рыбного стола; но в наше время и этот след иноческого аристократизма исчез. Нынешние епископы плохие гурмандисты: настоящий архиерейский вкус к тонким рыбам у них утрачен, и, живя по простоте, они и кушать стали простую, но более здоровую пищу, какую вкушают все люди здравого ума и скромного достатка. Дорогие рыбные столы у архиереев теперь бывают редко, и то только для дорогих гостей, – сами же они, в своем уединении, рыбы себе не заготавливают, а кушают большею частью одно... грибное. Некоторые епископы теперь даже берут для себя стол попросту из кухмистерских, где питается всякий «разночинец» (*прим. Лескова*).

стукнет.

Взаправду: кто из всех смертных, не исключая даже колодников, может считать себя лишенным такого важного и необходимого права, как «*право двигаться*»? Кажется, никто... кроме русского архиерея. Это его ужасная привилегия: *ему нельзя выйти* за ворота своего двора, а *позволяется только выехать*, и то не на одном и даже не на двух, а непременно на четырех животных, да еще, пожалуй, под трезвон колоколов.

Надо пожить в таком положении, чтобы понять, до чего оно тягостно и как вредно оно отзывается на всем организме. Сколько сил и способностей, может быть, погибло жертвою одной этой привилегии? И как тягостятся этою привилегиею многие из тех, которым завидуют люди, считающие блаженством «*есть и не просиживать зоба*».

Мой родной брат, довольно известный врач, *специалист по женским болезням*, живет в г. Киеве, в собственном доме; бок о бок с Михайловским монастырем, где имеет пребывание местный викарный епископ. По своей акушерской практике брат мой никаких сношений с своими черными соседями не имел и не надеялся практиковать у них, но вот однажды темною осеннею ночью (несколько лет тому назад) к нему звонится монах и во что бы то ни стало просит его поспе-

шить на помощь к преосвященному Порфирию.¹⁰

Доктор подумал, что монах ошибся дверями, и приказал слуге разъяснить иноку, что он врач-акушер и для епископа не годится. Но слуга, вышедший к монаху с этим ответом, возвращается назад и говорит, что монах не ошибся, что он именно прислан к моему брату, которого владыка просит прийти как можно скорее, потому что ему очень худо.

– Что же такое с ним? – спрашивает доктор.

– Очень худо, – говорит, – в животе что-то разнесло.

«Ну, – думает акушер, – если дело в животе, так это уже недалеко от моей специальности», – и пошел, как всегда ходит к требующим его помощи, с мешком своих акушерских снастей и снарядов. Мы было отсоветовали ему не заносить в монастырь этого духа, но он не послушался.

– Надо взять, – говорит, – я без них как без рук.

И он отлично сделал, что настоял на своем.

Возвращается он назад перед самым утром, с ароматною сигарою в зубах, и смеется. Расспрашиваем его: где был?

– Да, действительно, – говорит, – был у архиерея.

– А кому же ты у него помогал?

– Да ему же и помогал.

¹⁰ Пр. Порфирий Успенский, известный писатель о Востоке. Скончался в Москве на покое (прим. Лескова).

– Неужели, – спрашиваем, – и инструменты недаром брал?

– Да, – говорит, – одна инструментина пригодилась, – и рассказывает вообще следующее.

– Прихожу, – говорит, – в спальню и вижу – архиерей лежит и стонет:

«Ох, доктор! как вы медлите... мне худо».

Я ему отвечаю: «Извините, владыка, ведь я акушер и лечу специально одних женщин». А он говорит:

«Ах, полноте, пожалуйста: есть ли когда теперь это разбирать, – да у меня, может быть, и болезнь-то женская».

«Что же у вас такое?»

«Брюхо вспучило – совсем задыхаюсь».

– И вижу, – говорит доктор, – он действительно так тяжело дышит, что даже весь побагровел и глазами нехорошо водит; а в брюхе, где ни постучу, все страшно вздуто.

«У вас, – говорю, – все это газами полно – и ничего более».

«Да я и сам, – отвечает, – думал, что в ином-то ни в чем вы меня не обличите, а только помогайте».

«Желудок надо скорее очистить», – сказал доктор.

«И не трудитесь: все напрасно: одеревенел и не чистится».

И архиерей назвал самые сильнейшие слабитель-

ные, которые он (сам изрядный знаток медицины) употреблял, но все бесполезно.

«Худо», – молвил акушер.

«Да-с, – отвечал епископ, – совсем весь свой аппарат испортил. Хоть ничего не ешь и не пей, а все его не убережешь в этой нечеловеческой жизни. Но теперь... умоляю... хоть какую-нибудь струменцию, что ли, в ход пустить, только бы полегчало».

Тут-то и пригодилась инструментина из акушерского ридикюля, а после принесенного ею быстрого облегчения настал приятный разговор, начавшийся с того, что врач сказал облегченному святителю, что он ему не будет ничего прописывать, потому что болезнь его не от случайной неумеренности, а от недостатка воздуха и движения, но что состояние его, обусловливаемое этими причинами, очень серьезно и угрожает его жизни.

«Ах, я с вами согласен, – отвечал пр. Порфирий. – Но что же вы мне посоветуете?»

«Больше ходить по воздуху, преимущественно по горкам, которых у нас так много».

«Как же, как же... прекрасно; да еще бы, может быть, часа полтора в сутки верхом на коне поездить?»

«Это бы очень полезно».

«Сядьте же, дорогой сосед, поскорее к моему столу и напишите мне все это, по старой формуле, сит

deo». ¹¹

«Зачем же это писать, когда я вам это так ясно сказал».

«Да мало ли что вы мне сказали. Я и сам без вас все это знаю. Нет, а вы мне это напишите, а я попробую в синод просьбу послать и приложу ваш рецепт: не разрешат ли мне, хоть *ради спасения жизни, часа два в день по улицам пешком ходить?* Но нет, впрочем, не хочу вас напрасно и затруднять, не пишите. И св. синод мне такой льготы не разрешит, да и благочестивые люди мне не дадут пешком ходить: все под благословение будут становиться. Другое бы дело верхом ездить, я это и люблю, и когда-то много на Востоке на коне ездил, и тогда никаких этих припадков не знал, но на Востоке наш брат счастливее, там при турках проще можно жить и свободнее можно двигаться».

«Ну, вы бы, – говорит доктор, – как-нибудь у себя дома устроили себе моцион».

«Летом, когда сад открыт, я хожу по саду. Хоть и скучно все по одному месту топотать, но топочу. А вот как придет осень с дождями, так и сел. Куда же в топь-то лезть? А на дворе на мощные дорожки выйти – опять благословляться пристанут. И сижу в комнате. Зима, все дни дома, и весь весенний ранок тоже дома. Вот вы и посчитайте: много ли архиерею по воз-

¹¹ С богом (лат.)

духу-то можно ходить?»

«У вас по монастырскому двору зимою дорожки есть?»

«Как же, есть; только мне-то по ним ходить нельзя».

«Отчего же?»

«Сан велик ношу: монахи будут стесняться со мною гулять, да и мне, скажут, непристойно с ними панибратствовать; а потом благочестивцы прознают, что архиерей наружи ходит, за благословением одолеют. Словом, беспокойство поднимется: даже мой монастырский журавль и конюшенный козел, которые нынче имеют передо мною привилегию разгуливать по той дорожке, – и они почувствуют стеснение от моего появления на воздух. Какой же вы мне иной, более подвижный образ жизни можете указать?»

Врач развел руками и отвечал:

«Никакого».

«А вот то-то и есть, что никакого. Я давно говорю, что мы, архиереи, самые, может быть, беспомощные и даже совсем пропащие люди, если за нас медицина не заступится».

«Медицина? – повторил врач, – ну, ваше преосвященство, вряд ли вы от нас этого дождетесь».

«А почему?»

«Да ведь мы не набожны... Скорее набожные люди пусть за вас заступятся».

«Так-то и было! Эк вы куда хватили! – набожные-то это и есть наши губители. Перед ними архиерей, наевшись постной сытости, рыгнет, а тот это за благодать принимает – говорит, будто „душа с богом беседует“, когда она совсем ни с кем не беседует, а просто от тесноты на двор просится! Нет! медицина, государь мой, одна медицина может нас спасти, и она тут не выйдет из своей роли. Медицина должна нами заняться не для нас и не для благочестия, а для обогащения науки».

«Какую же услугу может оказать медицине занятие архиереями? Это очень интересно».

«Очень интересно-с! Медицина через нас может обогатить науку открытиями. Я вот за столько лет моих кишечных страданий очень зорко слежу за всеми новыми медицинскими диссертациями и все удивляюсь: что они за негодные и неинтересные темы берут! Тот пишет о лучистом эпителии, другой – о послеродовом последе, словом, все о том, что выплевывается да извергается, а нет того, чтобы кто-нибудь написал диссертацию, например, „об архиерейских запорах“. А это было бы и ново, и оригинально, и вполне современно, да и для человечества полезно, потому что мы, освежившись, сделали бы добрее... намекнуть бы только об этом надо где-нибудь в газетах, а то наверное найдется умный медик, который за это

схватится. И уж какая бы к нему отборная духовная публика на диспут съехалась, и какую бы он себе выгодную практику приготовил, специализовавшись по этому предмету. А наше начальство, увидав из этого рассуждения доказательства, отчего род преподобных наиболее страждет и умаляется, может быть смилостивилось бы и позволило бы нам ходить пешком по улице. И, может быть, тогда и люди-то к нам больше привыкать бы стали, и начались бы другие отношения – не чета нынешним, оканчивающимся раздаванием благословений. Право, так! Я или другой архиерей, ходя меж людьми, может быть кого-нибудь чему-нибудь доброму бы научили, и воздержали бы, и посоветовали.

А то что в нас кому за польза! Пожалуйста, доктор, поверните нас на пользу науки и пустите об этом, промежду своими, словечко за нас – *запорников*». ¹²

И больной с доктором, пошутив, весело расстались.

А между тем подумайте, читатель: сколько горького в этой шутке, которую отводил свою досаду очень

¹² Липа, имеющие какие-либо сношения с специальными медицинскими органами, может быть, действительно принесли бы некоторую пользу человечеству, если бы не пренебрегли точно мною передаваемым мнением епископа об особенном характере их, так сказать, сословного недуга. Может быть, гг. медики убедили бы общество и начальство, что так людям жить нельзя (*прим. Лескова*).

умный русский человек духовного чина? сколько в том, что он осмеивал, чего-то напрасного, обременяющего и осложняющего жизнь невыносимыми условиями, которые чуть не целые века стоят неизменными только потому, что никто не хочет понять их тяжесть и снять с людей «бремена тяжкие и неудобноносимые»...

Положим, что наше облагодатствованное духовенство невозможно ставить на одну доску с какими-нибудь совсем безблагодатными протестантскими пасторами, которые ходят повсюду, куда можно ходить частному человеку; но если даже сравнить положение нашего епископа с положением лица соответственного сана римской церкви, то насколько свободнее окажется в своих общественных отношениях даже римский епископ? Этот не только может проехать к знакомому мирянину без звона и на простом извозчике, но он посещает безвредно для себя и для церкви музеи, выставки, концерты, сам покупает для себя книги, а с одним из таковых, еп. Г-м, большим любителем старинного искусства, я даже не раз хаживал к букинистам на петербургский Апраксин двор, и все это не вредило ни сану епископа, ни его доброй репутации, ни римской церкви.

Почему же наш епископ лишен этой свободы, и почему лишение это идет, например, так далеко, что ко-

гда один из русских епископов, человек весьма ученый и литературный, пожелал заниматься наряду с другими людьми в залах публичной библиотеки, то говорили, будто это было найдено некоторыми широко расставленными людьми за непристойность и даже за «фанфаронскую браваду» (два слова, и оба не русские)... Мы так не привыкли, чтобы наши епископы пользовались хотя бы самую позволительную свободу, что приходим в недоумение, если встречаем их где-нибудь запросто. Я помню, как однажды покойный книгопродавец Николай Петрович Кораблев (вместо которого, по газетным известиям, вероятно из вежливости, преждевременно был зачислен умершим его товарищ Сиряков) встретил меня в самом возбужденном состоянии и с живостью и смущением возвестил, что к ним в магазин *заходил епископ!* Но и то это было еще во время о́но; да и епископ тот был краса нашей церковной учености, трудолюбивый Макарий литовский, впоследствии митрополит московский...

В обществе о таком «укрывательстве архиереев» думают различно: один находит, что этого будто «требуется сан», а другие утверждают, что сан этого не требует. Люди сего последнего мнения, ссылаясь на простоту и общедоступность «оных давних архиереев», склонны винить в отчуждении архиереев от мира так называемую «византийскую рутину» или, нако-

нец, кичливость самых архиереев, которым будто бы особенно нравится сидеть во свете неприступном и ездить на шести животных.

Может быть, что все это имеет место в своем роде и склоняет дело к одному положению. Кто хоть раз бывал в архиерейском доме, тот знает, как там все нелюдимо, дико и как-то бесприютно, и кто видал много владычных домов, тот знает, что нелюдимость и бесприютность – это неотъемлемое качество сих жилищ; а всякое жилище, говорят, будто бы выражает своего хозяина. Еще одно общее архиерейским домам отличительное и притом удивительное свойство, это необъяснимый запах *старыми фортепианами*, который очень легко чувствовать, но причину его отгадать трудно, ибо фортепиан в архиерейских домах не бывает, но этот *скучный запах* там есть, точно в зале старого нежилого помещичьего дома, где заперты фортепианы, на которых никто не играет. Есть и еще *нечто*, как мне кажется, еще более действенное. Довольно общее и притом небезосновательное убеждение таково, что православные любят пышное велелепие своих духовных владык и едва ли могли бы снести без смущения их «опрощение». Об этом даже писано в газете «Голос» по поводу неприятности, случившейся с епископом Гермогеном Добронравиным в Исаакиевском соборе. Однако, впрочем, по игре слу-

чая сказано это было в том же самом номере, где говорилось, что в оное время все газеты будто бы писали не то, что думали. Но на самом деле православные действительно до того любят велелепие владык, что даже при расписывании своих храмов, на изображаемых по западной стене картинах Страшного суда, настойчиво требуют, чтобы в разинутой огненной пасти геенны цепью дьявола, обнимающего корыстолюбивого Иуду, было непременно прихвачено и несколько архиереев (*в полном облачении*).¹³ Любовь к пышности, мне кажется, несомненна, и она не ограничивается требованием пышности только в служении. Есть православные, которым как будто нужно, чтобы их архиереи и вне храма вели себя поважнее – чтобы они ездили не иначе, как «в пристяж», по крайней мере четверкою, «гласили томно» и «благословляли авантажно», и чтобы при этом показывались не часто, и чтобы достигнуть до них можно было не иначе, как «с подходцем». А в доме у них все стояло бы чин-

¹³ Когда в Орле в дни моего отрочества расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шашку, чтобы он поставил в аду за цепь к Иуде Смарагда, и что он будто бы это отлично исполнил. «Сходства, – говорит, – лишнего не вышло, а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр Евфратович» (*прим. Лескова*).

но в ряд, без всякого удобства – словом, не так, как у людей. Напрасно было бы оспаривать, что все это действительно так; но едва ли можно было бы доказать, что такое «любление» пышности выражает любовь к лицам, от которых она требуется, и укрепляет уважение к их высокому сану. Совсем нет; в этом желании православных «превозвышать» своих архиереев есть живое сродство с известным с рыцарских времен «обожанием женщин», которое отнюдь не выражало собою ни любви, ни уважения рыцарей к дамам: дамы от этого «обожания» только страдали в томительной зависимости. Мертвящая пышность наших архиереев, с тех пор как они стали считать ее принадлежностью своего сана, не создала им народного почтения. Народная память хранит имена святителей «прóстых и препростых», а не пышных и не важных. Вообще «непростых» наш народ никогда не считает ни праведными, ни богоугодными. Русский народ любит глядеть на пышность, но уважает *простоту*, и кто этого не понимает или небрежет его уважением, тем и он платит неуважением же. Не говоря о скверных песнях и сказках, сложенных русскими насчет архиереев, и не считая известных лубочных карикатур, где владыки изображаются в унижающем их виде, одни эти церковные картины Страшного суда с архиереями, связанными неразрывною цепью с корыстолю-

бивым Иудю, показывают, что «любление» пышности архиерейской сто́ит не высокой цены и выражает совсем не то, что думают некоторые стоятели за эту пышность. Она скорее всего просто следствие привычки и, может быть, вкуса, воспитанного византизмом и давно требующего перевоспитания *истинным христианством*. Тот же самый народ, которому будто бы столь нужна пышность, узнав о таком «простом владыке», как живший в Задонске Тихон, еще при жизни этого превосходного человека оценил его дух и назвал его *святым*. Этот самый народ жаждал слова Тихона и слушался этого слова более, чем всяких иных словес владык пышных.

Небезызвестен и другой подобный же пример и нынче, но только мы не назовем этого современного нам епископа, из уважения к его скромности и тщательному старанию, с коим он таится от мира в незначительном Ш-ке. Стало быть, не пышность и не веле-лепие, а еще более не важность и не неприступность служат лучшим средством доброго влияния архиереев на их паству, а, напротив, – качества совсем иные – качества, не только не утверждающиеся на пышности, но даже совсем с нею не сродные: уважается *простота*.

Есть, однако, люди, которые утверждают, что пленительная простота, отличавшая Тихона, возможна

только для епископов, отказавшихся от дел управления. Правящий же епископ будто бы не может вести себя так просто – ибо «наш-де народ еще не достиг того понятия, чтобы чтить простоту».

Помимо отвратительного и горького чувства, внушаемого сим подобными словами, которые дышат и невежеством и предательством, они совершенно несправедливы. В подкрепление моей мысли я приведу примеры двух недавно скончавшихся архиереев, кои были младенчески просты, а правили епархиями ничуть не хуже самых «великатных».

Глава восьмая

Первый из двух непорочных «младенцев в митрах» был усопший киевский митрополит Филарет Амфитеатров, о милой простоте которого я уже рассказывал в моей книжечке «Владычный суд», но еще и здесь сообщу нечто в воспоминание о его теплой и чисто-детской душе. Это интересно уже по одному тому, что народ вменял Филарету его простоту в *святость*. Посмотрим же, что это был за характер и каким он родился обычаем.

То, что я ниже буду рассказывать, известно мне со слов моего умершего друга, художника Петербургской академии художеств, Ивана Васильевича Гудовского, которого, вероятно, еще очень многие не забыли в Киеве. Он был хороший мастер своего дела и очень добрый, честный и прямой, правдивый человек, которого каждому слову можно было смело и несомненно верить.

Ив. В. Гудовский – сын казака из г. Пирятина. Он еще в отрочестве своем был привезен в Киево-Печерскую лавру и, во внимание к замеченным в нем художественным склонностям, отдан для научения живописи в лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою (пришедшею при митрополите Арсе-

нии в совершенный упадок) тогда заведовал иеромонах Иринарх, художественные способности которого многих не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что «кисть его над смертными играла»; он имел удивительное несчастье всех писать «на одно лицо». И на самом деле, отец Иринарх был не очень большой искусник, но человек очень рачительный и очень полезный. Он оставил в лавре множество памятников своего удивительного мастерства «писать *всех на одно лицо*». Замечательнейшие из произведений этого рода представляют иконопортреты святых, почивающих в ближних и дальних пещерах, размещенные над их гробницами. Во всех этих лицах отцом Иринархом соблюдено удивительное «сходство на одно лицо», даже мужчины и женщины у него все схожи между собою, и не только *par expression*,¹⁴ – что еще кое-как возможно было бы объяснить однородностью одушевлявшего их религиозного настроения, но все они схожи *par l'ait*,¹⁵ что уже может быть объяснено только феноменальной своеобразностью благочестивой кисти отца Иринарха, которая давала всему теплый колорит *родства святости*. Митрополит Филарет Амфитеатров считал иеромонаха Иринарха хорошим мастером по иконописанию, и едва ли митро-

¹⁴ Общим выражением (*франц.*).

¹⁵ Отдельными чертами (*франц.*).

полит не был правее многих заезжих знатоков, смущавшихся тем, что у отца Иринарха «все шло на одно лицо». У него зато не было неприятной *головасто-сти* академика Солнцева (который не избежал своего порока даже в изданном теперь М. О. Вольфом дорогом и изящном «Молитвослове») и не было сухой *вытянутости* фигур Пешехонова. Пешехонов, по моему мнению, гораздо стильнее г. Солнцева, но он всегда «клонил к *двоеперстию*» в «благословящих ручках», что, как известно, в православии терпимо быть не может. Этим Пешехонов навлек на себя такое подозрение митрополита Филарета, что считался одно время неблагонадежным, а при реставрациях даже и «*опасным*». Особенно это усилилось с того случая, как Пешехонов в одной из стенописных картин собора вздумал открыть контуры двуперстного сложения и, доверясь старинным очертаниям, прописал было ручки по этим абрисам. Но, к счастью для киевских святых, Пешехонов не укрылся с этим от внимания досужих людей, которые довели о том до ведома митрополита, и дело было поправлено: антикварные вольности Пешехонова были отстранены, и святые отцы древнего собора сложили свои ручки троеперстно.

С отцом Иринархом не могло быть никаких беспокойств подобного рода: умея писать «всех на одно лицо», он еще аккуратнее всем давал одинаковые руч-

ки, с верным троеперстием. Да и вообще он писал в иконном роде довольно приятно, строгоньким, но довольно округлым монастырским рисунком, в мягких тонах и нежными лассировками, что, бесспорно, приличествует иконописному роду живописи и очень нравилось митрополиту Филарету.¹⁶ Но всего более о. Иринарх был отличный *школьмейстер*, что совершенно основательно ценил в нем покойный владыка. Лаврская школа при о. Иринархе была относительно в таком цветущем состоянии, что надо было удивляться мастерству киевопечерских правителей, которые потом умели привести ее в самое жалкое состояние, в каком я ее в последний раз видел незадолго до кончины митрополита Арсения, многообразные услуги коего киевской пастве не оценены ее истори-

¹⁶ Два современника: Филарет московский (Дроздов) и Филарет киевский (Амфитеатров), между множеством отличавших их различий, несходно относились и к иконописному искусству. Филарет Дроздов, по собственному его признанию (см. письма, изд. А. Н. Муравьевым), не знал толку в этом деле и даже, судя по тону письма, относился к этому как будто равнодушно; но Филарет киевский любил иконописное дело и считал себя в нем сведущим. Он смело вмешивался в работы по реставрации стенописи киевских соборов, пока (как рассказывали за достоверное) получил чувствительные для него неприятности от покойного государя Николая Павловича, желавшего правильной реставрации Софийского собора Ярослава. По правде судя, кажется, добрый старец более любил искусство, чем понимал его, и если там в фресках что излишне «замалевано», – то едва ли этого не следует хотя долею отнести на его милую память (прим. Лескова).

ком. При Иринархе здесь не только «тонко» работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский дух и предания, несколько напомилавшие дух школ старинных монастырских маэстро. Некоторые ученики о. Иринарха переходили из его школы в академию и там оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрым, чисто художественным настроением, делавшим их хорошими товарищами и приятными людьми в дальнейшей жизни. Все это творил о. Иринарх – довольно строгий монах, но большой любитель своего ремесла и заботливый укоренитель его в тех, кого судьба давала ему в ученики.

Художник Гудовский *пришел* в Петербург, в академию, из этой же школы о. Иринарха, о которой до своей трагической кончины говорил всегда с одушевлением, как о «милых годах своей юности»; в этих же рассказах он не раз упоминал следующий анекдотический случай, лично касающийся митрополита Филарета Амфитеатрова.

– Раз, – говорил Гудовский, – мы работали летом, внизу, под митрополичьими покоем,¹⁷ и там после

¹⁷ Я уже не помню, была ли тут временная мастерская, или работы шли в нижней домово́й церкви митрополичьего дома, или все это было в Голосееве, где киевские митрополиты проводят дачное время (*прим. Лескова*).

обеда и отдыхали. Отец Иринарх, бывало, пообедавши, остается уснуть в своей келье, а мы, ребяташки, находили, что нам лучше тут, потому что здесь было прохладнее, да и присмотра за нами не было; а самое главное – что отсюда из окон можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие сочные груши, называемые в Киеве «принц-мадамы», которые мы имели сильное желание отрясти.

После долгих между собою советов и обсуждения всех сторон задуманного нами предприятия полакомиться митрополичьими принц-мадамами мы пришли к убеждению, что это сладкое дело хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный сад никто не караулил, а единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил. Стало быть, надо было только обеспечить себя от зоркого глаза отца Иринарха, чтобы он не пришел в ту пору, как мы спустимся в сад красть груши. А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных и затем один по одному всею гурьбою спустились потихоньку в угольное окно, выходящее в темное, тенистое место у стены, и, как хищные хорьки, поползли за кустами к самым лучшим деревьям.

Все шло хорошо; работа кипела, и пазухи наших блуз тяжело нависали. Но вдруг на одном дереве по-

явилось разом два трясуна, из которых один был, вероятно, счастливее другого, и у них тут же, на дереве, произошла потасовка, но в это самое время *кто-то* крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Не разбирая, *какой из наших махальных* это крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную долю наворованных принц-мадам. А те двое, которые подрались на дереве, с перепугу оборвались и оба разом полетели вниз. И все мы, столпившись кучею у окна, чрез которое спускались друг за другом веревочкою, смялись и, плохо соображая, что нам делать, зашумели. Каждому хотелось спастись поскорее, чтобы не попасться отцу Иринарху, и оттого мы только мешали друг другу, обрывались и падали. А *где-то* сверху над нами *кто-то* весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом.

Это все мы заметили, но в суетах не обратили на это внимания, тем более что когда мы успели взобраться назад в окно и попрятать принесенные с собою ворованные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Иринарха...

Все часы своей послеобеденной работы мы об этом перешептывались за своими мольбертами, а ве-

чернею шабашкою тотчас же приступили к дознанию: как это могло случиться, и решили виновника «отдуть». Но чуть только мы хотели привести это решение в исполнение, как тот струсил и, желая спастись от наказания, выдал ужасную тайну: он сказал нам, что не он один, а все три наши махальные не выдержали искушения и, покинув свои посты, вместе с нами сбежали в сад за краснобокими принц-мадамами.

Ночью, поев все покраденные груши, юные артисты решили больше не воровать; но назавтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых сторожей, которые, однако же, за исключением одного, оказались не исправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки-сторожа появились между ними – все, за исключением одного. Но и этот один был плохой и злой сторож: оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство.

– Не успели мы, – говорил Гудовский, – приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Все мы, сколько нас там было, услышав это, как пули попадали сверху на землю и... не поднимались с нее... Не поднимались потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больший: мы опять услыша-

ли голос, которого уже не могли не узнать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Иринарха, но нынче он не пугал нас, а успокоивал. Слова, им произнесенные, были:

«Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет!»

Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали и, приподняв из травы свои испуганные головенки, оцепенели... И как иначе – они увидели самого его, владыку киевского и галицкого, стоявшего для них на страже у косяка своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывают его сад...

Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости?

– Мы, – говорил Гудовский, – потеряли все чувства от стыда; мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам махального митрополит крикнул:

«Ну, теперь бегите, дурачки, – теперь Иринарх идет!»

Тут мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили.

Прошел день, два, три – мы все были в страхе: не призовет ли митрополит о. Иринарха и не откроет ли

ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя «милый дидуся», очевидно, о нас думал и, догадываясь, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать.

На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целое корыто разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал.

«По какому же это случаю?» – допытывались мы, радостно и робко принимая щедрый подарок. Но случая никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалчивали.

Посланный сообщил только, что владыка просто сказал:

«Сошлите живописцам-мальчишкам медку и всяких яблочек... Дурачки ведь они, им хочется... Пусть поточат».

– Мы эти его груши и сливы, – честное слово говорю, – со слезами ели и потом, как он первый раз после этого служил, окружили его и не только его руки, а и ряску-то его расцеловали, пока нас дьякона по затылкам не растолкали.

Так он их наказал, и, прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через пятнадцать после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходящем на Софийскую улицу, этот, тогда уже пожилой, худож-

ник, бывало, ни разу не пропустит мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детской радостью:

– Здоров будь, милый дидуню!

И более того: этот человек здорового и острого ума, вращавшийся в свое время в различных кружках Петербурга, не сохранил всей веры, в которой был наставлен своею церковью. Он был религиозен, но, к сожалению, долго жил с монахами, хорошо знал их и относился недружелюбно и даже враждебно к духовенству вообще, и к черному в особенности; но на предложенный ему однажды вопрос: «где же, однако, в какой церкви самое лучшее духовенство?» – отвечал:

– В русской, бо из него выйшов наш старый дидуся Филарет, дуже добрый.

И бог весть, когда пала в эту художественную душу любовь к «дуже доброму дидусе». Может быть, именно тогда, когда превосходный старец покрывал свою превосходною добротою *ребячье баловство*, которое любой педагог и моралист не усумнились бы теперь назвать *воровством* и даже, пожалуй, признаком социалистического взгляда на собственность, а какой-нибудь либеральный перевертень с прокурорского кресла потребовал бы за все это самую строгую кару. Но, к счастью, не так смотрит на вещи не направленская, а настоящая добродетель, одним из

прекрасных представителей которой может быть назван Филарет Амфитеатров, о коем, право, кажется, можно сказать, как о Моисее, что он «смирен бе паче всех человек».

Но чтобы сказать все, что мне, случайно конечно, известно об истинном, неподдельном смирении этого истинного человека, а с тем вместе чтобы и не дать пропасть анекдоту, который может пригодиться для характеристики простой, но замечательной личности митрополита Филарета, запишу еще следующее событие, известное мне от очевидцев – родного дяди моего, профессора С. П. Алферьева, и бывшего генерал-штаб-доктора крымской армии Н. Я. Чернобаева.

Когда юго-западный генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков возвратился в последний раз из Петербурга, где он был назначен на должность министра внутренних дел, то он посетил митрополита Филарета и, рассказывая ему новости, какие считал уместным сообщить его смирению, привел слова императора Николая Павловича о церковном управлении.

Слова эти, очень верно сохраняемые моею памятью, были таковы, что будто покойный государь, разговаривая с Дмитрием Гавриловичем о разных предметах, сказал:

– О церковном управлении много беспокоиться нечего: пока живы Филарет мудрый да Филарет благочестивый, все будет хорошо.

Услыхав это от министра, митрополит смутился и поник на грудь головой, но через секунду оправился, поднял лицо и радостно проговорил:

– Дай бог здоровья государю, что он так ценит заслуги митрополита московского.

– И ваши, ваше высокопреосвященство, – поправил Бибиков.

Филарет наморщил брови.

– Ну, какие мои заслуги?.. ну что... тут... государю наговорили... Все «мудрый» Филарет московский, а я... что – пустое.

– Извините, владыка: это не вам принадлежит ваша оценка!

Но митрополит замахал своею слабою ручкою.

– Нет... нет, уж позвольте... какая оценка: все принадлежит мудрости митрополита московского. И это кончено, и я униженно прошу ваше высокопревосходительство мне больше не говорить об этом.

И при этом он, говорят, так весь покраснел и до того сконфузился, что всем стало жалко «милого старика» за потрясение, произведенное в нем неосторожным прикосновением к его деликатности.

Так детски чист и прост был этот добрейший чело-

век, что всякая мелочь из воспоминаний о нем наполняет душу приятнейшею теплотою настоящего добра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и... с ним умерло... По крайней мере для людей, знавших Филарета, долго будет казаться, что органически ему присущее добро умерло с ним в том отношении, что их глаз нигде не находит другого такого человека, который был бы так подчинен кроткому добротолюбию, не по теории, не в силу морали воспитания и, еще более, не в силу сухой и несостоятельной морали направления, а именно подчинялся этому требованию самым сильным образом *органически*. Он родился с своею добротою, как фиалка с своим запахом, и она была его природою.

Но как он, с таким характером и в самых преклонных годах, мог править такую первоклассною епархию, как киевская? Полагают, что его, вероятно, обманывали какие-нибудь свои «гаврилки» (то есть родственники) и, пользуясь его добротою, под его руку вершили кривду над правдою. Но в том-то и дело, что он не терпел при себе ни одного «гаврилки» и им никто не правил, кроме его собственного сердца. Ветхий и немощный Филарет имел прекрасных викариев и замечательного наместника Иоанна, впоследствии епископа полтавского, который, может быть, более сделал *для духа* монашества лаврского, чем старатель-

но прославленный наместник Сергиевской лавры Антоний – *для архитектуры*; но все эти лица сотрудничали митрополиту Филарету, а не верховодили им. Во всех делах, требовавших от него самостоятельности, он действовал самостоятельно и до конца жизни правил сам и везде его доставало (только в университет он перестал ездить, потому что «не хотел слышать о конкубинах»).¹⁸ Даже где нужна была строгость и наибольшая энергия, он и тут не устранился от дела, а только всегда боялся быть жестоким.

¹⁸ Преосвященный Филарет приехал на защите диссертации, в которой разбиралась разница прав детей, прижитых от сожителства *connubium* и *concubinatum* (В законном и незаконном браке (*лат.*)). Митрополит долго крепился и слушал, но, наконец, не выдержал и встал. Насилу упростили его «не смущать диспутанта». Он это уважил, но жаловался.– Что же, – говорит, – я монах, а только и слышу *connubium* да *concubinatum*. Не надо было звать меня. И в этом он был прав. Но замечательно: это так осталось у него в памяти, что он, когда речь касалась университетов, всегда любил за них заступаться, но шутиливо прибавлял:– Одно в них трудно монаху, что все «*connubium*» да «*concubinatum*», – а больше все хорошо. Впрочем, из всех так называемых «светских» наук мне известно определительное отношение митрополита Филарета только к медицине. Тяжко страдая мочевыми припадками, он беспрестанно нуждался в помощи врача 3-го и, получив облегчение от припадков, говорил со вздохом:– Медицина – божественная наука (*прим. Лескова*).

Глава девятая

Один из памятных случаев в самостоятельном роде устроил ему бывший парадный архидиакон монастыря, о. Антоний. Богатырь, красавец и жуир, диакон этот пользовался большими льготами в монастыре, где дорожили его громоподобным голосом и спускали ему многое, чего, может быть, не следовало бы спускать. Все это его до такой степени избаловало, что он стал не знать меры своим увлечениям и, придя раз летнею ночью в исступление ума, вышел из кельи на житный двор, где на ту пору стояли вола приехавших с вечера мужиков. Исступленному иеродиакону пришла мысль сесть на вола верхом и начать разезжать на нем по монастырю.

Он так и сделал: отвязал от ярма самого рослого полóвого вола, замотал ему на рога налыгач (ремень) и взмогнулся ему на спину. Непривычный к верховой езде, бык пошел реветь, прыгать и метаться, а богатырь-диакон сидит на нем, как клещ на жужелице, и, жая его каблуками в ребра, кричит: «врешь, – не уйдешь».

И вол ревет, и седок ревет; сон мирной обители нарушен – она встревожена; спавшие покато́м по всему двору странники в переполохе мнутятся, думают, что

видят беса, – и впопыхах никто не разберет, кто кого дерет. Словом, смятение произошло ужасное: шум, гвалт, суматоха, и в заключение, когда дело объяснилось, – скандал и соблазн, утаить который было так же трудно, как сбересть секрет Полишинеля. Нынешней газетной гласности, питающейся от скандалов, при тогдашней тесноте еще не было, но слух, которым земля полнится, на другой же день распространился из монастыря в монастырь, оттуда по приходским причтам и, наконец, дошел до мирян, между которыми редко кто не знал чудака архидиакона Антония. Он, с его нелепым басом, гигантским сложением, завитыми кудрями и щегольскими черными бархатными рясами, то на желтом, то на голубом атласном подбое, слишком бил в глаза каждому. Я никогда не слышал, чтобы инок Антоний был особенно прославляем за свое благочестие, как аскет, но его любили, как простяка, за его наивную и бестолковую, а часто даже комическую удаль, с которой он, например, сам рассказывал, что он «изнывает от силы», потому что, по ужасно крепкому своему телосложению, он более не монах, а *паразит*.

После этого не должно показаться удивительным, что весть о ночном путешествии лаврского «паразита» верхом на быке казалась занятною и многих интересовало: какие это будет иметь для него послед-

ствия? Но дни проходили за днями, а паразит оставался на своем месте, и строгие люди стали смущаться, что же это митрополит: он ослабел, он слишком стар, или, наконец, от него все это скрыли? Возможно ли, чтобы за все это бесчинное вольтижерство такого видного инока ему совсем ничего не было?

Но все эти люди смущались напрасно: происшествие не осталось безызвестным владыке, да это было и невозможно, так как разгоряченный вол или сам занес наездника к митрополичьим покоям, или же паразит нарочно его сюда направил. Владыка стал на высоте своего призвания: он взыскал с вольтижера, и взыскал, по-своему, не только справедливо, но даже строго.

Управлявший тогда лаврскою типографиею очень образованный монах, к которому я часто хаживал учиться гальванопластике, рассказывал мне по секрету всю сцену разбирательства этого дела у Филарета.

Митрополит, имея, как я сказал, превосходного наместника в лавре, не захотел даже ему доверить разбора этого необычайного дела, а решил сам его разобрать и наказать виновного *примерно*.

Как инок строгой жизни, он, разумеется, был сильно возмущен и разгневан произведенным беспорядком и собирался быть так строг, что даже опасался, как бы

не дойти до жестокости.

Приступая к открытию судьбища, он все обращался к одному из приближенных к нему монахов, благочинному Варлааму (впоследствии наместнику) и говорил ему:

– Боюсь, что я буду жесток, – а?

Покойный Варлаам его успокоивал, говоря, что виновный стóит сильного наказания.

– Да, разумеется, он, дурак, стóит, но я боюсь, что я буду уже очень жесток, – а? – повторял митрополит.

– Ничего, ваше высокопреосвященство! Он снесет.

– Снесет-то снесет, но ведь это нехорошо, что я буду очень жесток.

Настал час суда – разумеется, суда *келейного*, происходившего только в присутствии двух-трех почетных старцев.

Виновный, думавший, что им очень дорожат за голос, мало смущаясь, ожидал в передней, а владыка, весьма смущенный, сел за стол и еще раз осведомился у всех приближенных, как все они думают: не будет ли он очень жесток? И хотя все его успокоивали, но он все-таки еще попросил их:

– А на случай, если я стану жесток, то вы мне подговорите за него что-нибудь подобнее.

Открылся суд: ввели подсудимого, который как преступил порог, так и стал у двери.

«Жестокий» судья для внушения страха принасу-
пился, завертел в руках свои беленькие костяные чет-
ки с голубою бисерною кисточкою и зашевелил без-
звучно губами.

Бог его знает, изливал ли он в этом беззвучном
шепоте самые жестокие слова, которые намеревал-
ся сказать виновному, или... молился о себе и, может
быть, о нем же. Последнее вернее... Но вот он при-
мерился говорить вслух и произнес протяжно:

– Ишь, кавалерист!

Дьякон упал на колени.

Филарет привстал с места и, строго хлопнув рукою
по столу, зашиб палец. Это, кажется, имело влияние
на дело: владыка долго дул, как дитя, на свой палец
и, получив облегчение, продолжал живее:

– Что, кавалерист!

Виновный упал ниц и зарыдал.

Митрополит изнемог от своей жестокости: он опять
подул на палец, повел вокруг глазами и, опустясь на
место, закончил своим добрым баском:

– Пошел вон, кавалерист!

Суд был кончен; последствием его было та-
кое незначительное дисциплинарное монастырское
взыскание, что сторонние люди, как я сказал, его даже
вовсе и не заметили; но митрополит, говорят, еще не
раз возвращался к обсуждению своего поступка. Он

все находил, что он «был жесток», и когда его в этом разуверили, то он даже тихонько сердился и отвечал:

– Ну как же я не жесток: а отчего же он, бедный, плакал?

Атлет-черноризец, которого терпел и о котором так соболезновал «добрый дидуня», однако, погиб. По его собственным словам, он «за свои грехи пережил своего благодетеля», но не пережил своей слабости.

Много лет спустя, в одну из своих побывок в Киеве, я ездил с моими родными и друзьями погулять в лесистую пустынь Китаев. Обходя монастырь со стороны пруда, над белильным током, где выкладывают на солнце струганый воск с свечного завода, я увидел у св. брама колоссальную фигуру монаха с совершенно седую голову и в одном подряснике.

Он разговаривал с известною всем китаевцам бродяжкою, «монашескою дурочкою», а возле него, бесцеремонно держа его за рукав, стоял послушник (покиевски *слимак*) и урезонивал его идти домой.

Я всмотрелся в лицо богатыря и узнал его: это был оный давний «паразит», давший мне много красок для лица, выведенного мною в «Соборянах», – диакона Ахиллы.

Я заговорил с ним, но он меня не узнал, а когда я ему напомнил кое-что прошлое, он вспомнил, осклабился, но сейчас же понес какой-то жалкий, несклад-

ный и бесстыдный вздор.

Это был человек уже совершенно погибший: в нем умерло все человеческое – все, кроме того, что не умирает в душе даже самого падшего человека: он сохранил редкую способность – *добро помнить*.

При одном имени покойного Филарета он весь съежился, как одержимый, и, страшно стукнув себя своим могучим кулачищем в самое темя, закричал:

– Подлец я, подлец! я огорчал его, моего батьку! – и с этим он так ужасно зарыдал, что слимак, сочтя это неприличным, повернул его за плечи к броне, пихнул в калитку и сказал:

– Уже годи, идить до дому. Це у в вас опьять водка плачет.

Паразит пошел: крепость его, видно, уже ослабела, и он привык повиноваться, но плакала в нем, мне кажется, все-таки *не одна водка*.

Но возможен вопрос: где же доказательство, что добряк Филарет не портил служебного дела своею младенческою простотою и правил епархией не хуже самых непростых?

Доказательства есть, хотя их надо взять не из сухих цифр официального отчета, а из живых сравнений, как говорится, *«от противного»*.

Что оставил митрополит Филарет в наследие своим наступникам? Сплошное, одноверное население,

самым трогательным образом любившее своего «старесенького дидусю», и обители, в которых набожные люди осызали дух схимника Парфения – этого неразгаданного человека, тихая слава которого была равна его смирению, даже превосходившему смирению его владыки.

Митрополит Исидор правил киевскою епархией недолго, так что его управление не для чего и сравнивать; но отличавшийся «признанным тактом» митрополит Арсений управлял ею много лет, и наследие, переданное им митрополиту Филофею, замечательно. Он оставил епархию расторгнутою чуждым учением (штундою), с которым борьба трудна, а исход ее неизвестен. Из иноков же времени Арсения самую широкую известностью пользовался на всю Русь распубликованный племянник его высокопреосвященства, архимандрит Мельхиседек, которого митрополит Арсений поставил начальником монастыря, имевшего несчастье долго скрывать в своих стенах возмутительные бесчинства этого до мозга костей развращенного насильника. Деяния этого срамника и дебошира, позорившего русскую церковь, закончились тем, что он утонул, катаясь с женщинами. Старик Днепр был исполнителем суда божия: он опрокинул ладью, в которой носилось оставленное митрополиту Арсением гулево сокровище, и только тут и Мельхиседек и его

спутницы «погибоша аки обре». Так суд божий поправил грехи бессудия, хранившего этого «гаврилку» на соблазн людям, из коих многие от одного этого бесстыдного видения спешили перебежать в тихую штунду.

Какой урок всем, имеющим при себе таких «гаврилок», которые приносят видимое бесславие церкви! Подвергать ее всем ударам, в изобилии падающим на нее за этих «гаврилок», – значит не любить ее или по крайней мере не дорожить ее спокойствием более, чем спокойствием своего «гаврилки».

Митрополит Филарет Амфитеатров ничего в этом роде дурного не оставил церкви, а оставил совершенно иное: он завещал ей «дитя своего сердца» (племянника) преосвященного Антония, почившего архиепископа казанского, у которого, может быть, и были свои недостатки, но который тем не менее, конечно небезосновательно, пользовался уважением и любовью очень многих людей в России, ожидавших от него больших услуг церкви. Но он так и умер *не в фаворе*.

А посему можно думать, что Русь судит о церковном правительстве митрополита Филарета Амфитеатрова правильно: она держится в этом слов своего божественного учителя: «дерево узнается по плодам» (Мф. XII, 33).

Не мне одному, а многим давно кажется удивитель-

ным, почему так много говорится об «истинном монашестве» митрополита Филарета московского и при этом *никогда* не упоминается об *истиннейшем* монахе Филарете киевском.¹⁹ Не дерзая ни одного слова сказать против первого, я все-таки имею право сожалеть, что его монашество как будто совсем застигает того, кого еще при жизни звали не иначе, как «*наш ангел*». Вся жизнь митрополита Филарета Амфитеатрова может быть поистине названа *самою монашескою* в самом наилучшем понятии этого слова... Но, кажется, и об этих высоких людях надо сказать то, что Сократ сказал о женщинах, то есть что «лучше всех

¹⁹ Строки эти были уже набраны, когда на страницах журнала «Русский архив» появились бесценные известия, восполняющие нравственный облик митрополита Филарета Амфитеатрова и характеризующие отношения к нему императора Николая Павловича. Когда возобновляли великую церковь Киево-Печерской лавры, местные художники закрыли старинные фрески новою живописью масляными красками. Это считалось и тогда преступлением, а потому была назначена комиссия, и синод постановил митрополиту Филарету сделать выговор. Государь написал на докладе: «Оставить старика в покое; мы и так ему насолили». В первый за тем приезд государя в лавру митрополит Филарет после обычного молебствия, указав на группу чернецов, сказал:— Вот, ваше величество, художники, расписывавшие храм.— Кто их учил? — спросил государь.— Матьер Божия, — отвечал простодушно владыка.— А! в таком случае и говорить нечего, — заметил император. Судя по времени, к которому относится этот рассказ, нельзя сомневаться, что в числе художников, получивших непосредственные уроки от матери божией, был представлен и знаменитый отец Иринарх, написавший «на одно лицо» всех киевских святых (*прим. Лескова*).

из них та, о которой нечего рассказывать», – или по крайней мере нечего рассказывать в апологиях, а достаточно вспомнить ненастным вечером, у домашнего очага, где тело согревается огоньком, а душа тихую беседу *о добром человеке*.

Память подобных людей часто не имеет места в истории, но зато она легко переходит в *жития*– эти священные саги, которые благоговейно хранит и *читит* память народа.

Глава десятая

От милостивого Филарета киевского перейдем к другому, тоже очень доброму старцу, епископу Неофиту. Этот был в ином – гораздо более веселом роде, но тоже чрезвычайно прост, а при всем этом правил епархией так, что оставил ее своему наступнику ничуть не хуже иных прочих.

В отдаленной восточной епархии, где недавно «окончил жизнь свою смертью» пр. Н—т, находятся большие имения г-на N., очень богатого и чрезвычайно набожного человека, устроившего себе житницу отвинных операций.²⁰ Набожность г-на N. так велика, что близкие люди этого праведника, не будучи в состоянии оценить это настроение, готовы были принять ее за требующую лечения манию. Это, впрочем, кажется было необходимо потому, что г-н N. хотел все нажитое с русского народа отдать в жертву монастырям и таким способом примириться с богом и «спасти души детей своих нищетою». Монахи обещали

²⁰ Известный автор сочинения о том, каким святым в каких случаях надо молиться, пермский протоиерей Евгений Попов напечатал, будто весь наступающий рассказ, конечно, очень несправедливый, касается одного пермского епископа и пермского же помещика г-на П. Д. Дягилева. Пусть это так и остается, как постарался выяснить правдивый протоиерей Евгений Попов (прим. Лескова).

ему все это устроить и работали около этого человека очень сильно, но чиновники все-таки их пересилили и устроили ограничение прав N. раздаривать святым отцам то, что годится еще собственным детям.

Иноческое фанатизирование довело этого человека до того, что он совсем очудачел. Он не только «целоденно молился», но даже спал в какой-то освященной «срачице», опоясанный пояском с мощей св. Митрофана, в рукавчиках св. Варвары и в шапочке Иоанна Многострадального, а проснувшись, занимался химией: дробил «херувимский ладан» из пещеры гроба и гомеопатически рассиропливал св. елей и воду для раздачи несчастным.

Эти благочестивые занятия, однако, ему тоже были вменены в вину и отнесены к научению монашескому, хотя, может быть, химик получил пристрастие к подобным занятиям гораздо ранее. Таким этот замечательный человек остался до смерти: он был строитель церквей, постник и ненасытный любитель странников, монахов, а наипаче читатель архиереев, с которыми неустанно искал сближения – желая от них *освятиться*. Когда он долго не сподоблялся архиерейского благословения натурою, он испрашивал оного письменно. В обширных поместьях N., соединенных в той же отдаленной глухой местности, при нем всегда водились «пустынники», которых он скрывал от

нескромных очей мира и особенно от полицейских властей. Это разведение и сбережение пустынников обходилось дорого, и вдобавок N. немало претерпевал от них и за них, так как они порою по искушению попадались в делах непустыннических. В собственных селах N. были самые лучшие церкви, в которых всегда все было в исправности: чистота, порядок, книжный обиход, утварь и ризница – словом, все благолепие в велелепии. А в селе, где жил сам N., «храм сиял», при нем два штата и ежедневное служение, которое измученные г-ном N. священнослужители называют «бесчеловечным», оттого что при нем не присутствовало *ни одного человека*. Таков был устав благочестивого владельца, которому, конечно, не смел и подумать возражать вполне от него зависимый причт духовенства.

К лицам белого духовенства N. был строг до немилосердия и докучлив более, чем покойный Андрей Николаевич Муравьев, которого, как известно, звали в шутку то «несостоявшимся обер-прокурором», то «генерал-инспектором пономарства». Впрочем, при огромном их сходстве по ревности к храму и по любви к храмовым служителям, они совсем не похожи друг на друга в том отношении, что покойный Андрей Николаевич был знаток церковных уставов и порядков и мог в них наставить иного настоятеля, а у г.

Н. такого знания не было. Кроме познаний в химии и гомеопатических делениях освященных твердых тел и жидкостей, он во всем церковном уставе был человек темный, и оттого у него не было той решительности и смелости, которыми был одержим А. Н. Муравьев, дерзавший произносить осуждение не только священникам и священноинокам, но даже преосвященнейшим владыкам и всему их святейшему собору. Н. не был повинен в таких знаниях, но зато он не виноват и в продерзостях, за кои А. Н. Муравьев, вероятно, порядком посудится с обработанными им чернецами.²¹ Г-н Н. был простец и брал все от одно-

²¹ До чего покойный Андр. Ник. Муравьев негодовал на высших представителей церкви, могут знать только те, кто видал его в последний год его жизни, когда он контрировал, бог весть из-за чего, с митрополитом Арсением. Раздражение против сего владыки приводило Андрея Николаевича в состояние величественного пафоса, в котором он даже пророчествовал, предсказывая, какую смертью будут вскоре скончаться не нравившиеся ему синодальные члены и обер-прокурор граф Дм. А. Толстой. Но предусмотрительный митрополит Арсений, до которого, вероятно, доходили отголоски этого пророчества, повел дело так тонко, что пережил Андрея Николаевича и успел ему хоть мертвому сделать самую чувствительную неприятность: он затруднил его вынос и погребение в Андреевской церкви и чуть не успел совсем лишить его права почивать под сводами храма. Остальные пророчества, которых я был слушателем, тоже не все исполнились. Но если он неверно пророчествовал, то вознаградил это удивительною законченностью своего собственного жизненного пути. Целую жизнь инспектируя священнодействия, он умер в этих же самых занятиях. Накануне смерти он пожелал особороваться. Таинство это, во главе других лиц, совершал Фи-

го вдохновения, – отчего ему угодить было трудно и даже невозможно, если блюсти свое правило и хоть немножко хранить свое достоинство, о коем позволяет заботиться Сирах. Составляя себе придворный штат духовных, N. обыкновенно собирал кондуит человека из архива всех четырех ветров и вообще менял лиц до тех пор, пока находился искусник ему по обычаю. Тут бывал отпуск, пока под ловкача не подберется мастер еще ловчее. Игра идет, бывало, до тех пор, пока увидят, что севший на место новый священнослужитель основательно овладел своим господином. Для этого были нужны: во-первых, чувствительность в служении; во-вторых, любовь к «таинственным уединениям» в лесах или на верхней горнице; в-

ларет (Филаретов), бывший викарий уманский, а после епархиальный архиерей рижский. Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса. Но когда служба была окончена и архиерей стал разоблачаться, умирающий, ко всеобщему удивлению, совсем неожиданно произнес:– Благодарю: таинство совершено по чину. Таковы были его последние слова на земле. Этою как нельзя более отвечающею всегдашнему его настроению фразою Муравьев окончил свою генерал-инспекторскую службу русской церкви и доказал, что он был один из редких, типических, последовательных и вполне законченных характеров. По крайней мере его не могут превзойти ни старый Домби у Чарльза Диккенса, ни та старушка у Тургенева, которая сама хотела заплатить рубль за свою отходную. Эта последняя черта, по моему мнению, непременно должна бы украсить биографию «несостоявшегося обер-прокурора», которая вообще могла бы быть очень интересною (*прим. Лескова*).

третьих, равнодушие и сухость к жене и, в-четвертых, под секретом сообщенный тайный обет монашества. Все это ловкие люди находили возможность проделывать вполне удовлетворительно, а когда N такими заслугами его вкусу, бывало, расположится в их пользу, тогда и ему начинают открываться их заслуги перед небом: он сподоблялся видеть сияние или около лица самого священника, или вокруг потира, который тот износил. С этих пор дело священнослужителя становилось крепко, и если бы N. после этого даже сам увидал такого дивотворца, в часы уединения играющего в верхней горнице в карты или сидящего зимою, под вечерок, у печки, обнявшись с женою, то все это ему не только прощал, но даже и не вменял в вину, а относил к «искушению», от которого праведному человеку укрыться трудно. Для того «преобладающе греху и преизбыточествует благодать».

Из того, что мною вкратце сказано, знатокам церковно-бытовой жизни, конечно, будет довольно понятно, коего сорта набожность и благочестие была у самого г. N. и коего духа люди могли уживаться с ним и угождать *его благочестию*... Для несведущих же пояснить это долго и, может быть, опасно – «да не соблазнится ни один от малых сих». Но весь этот отменный подбор отменных духовных не мог умолить провидение, чтобы все женатые сыновья и замужние до-

чери г. N. овдовели и ушли в монастырь, куда он сам очень желал уйти, чтобы там «помириться с богом».

Из всех своих родных N. сподобился устроить в монашество только одного запутавшегося в делах свояка, но и то неудачно. Тот оказался до такой степени легкомысленным, что даже из монастыря давал поводы к соблазну младшим. Так, например, получив однажды письмо от племянницы, институтки, он написал ей: «не адресуй мне *его благородию*: я уже монах, а монах благородным быть не может». И этот бедный инок хотя и был скоро поставлен в иеромонахи Коневецкого монастыря, но не выдержал, запил и умер.

Вся очень многочисленная семья N. тоже не тяготела к иночеству. Молодые люди, осемьянившись, нежно любили свои семейства и религиозны в свою меру, по-русски; съезжаясь летом к отцу, они даже прекрасно пели на клиросе сельской церкви и никаких религиозных сомнений и споров не любили. Если же промежду их случайно являлся беспокойный совопросник, то такого отсылали обыкновенно «переговорить с батюшкой»; а этого, сколько известно, всякий еретик боится и продолжительного разговора о религии с русским батюшкою не выдержит. Словом, все дети N. были простые, добрые, очень милые люди, без всякой *ханжеской претенциозности*.

Преосвященный Н—т поступил из г. Вятки в г.

П<ермь> после архиерея сурового, большого постника, с которым старый Н. был в наилучших отношениях и желал точно такие же отношения учредить с Н. Но при первом же визите у них дело пошло неладно.

Н. явился к новому владыке с некогда знаменитым цензором г. Z. <Н. В. Елагиным >, святошество которого весьма известно. Владыка, добрый, весьма почтенный старичок, еще не совсем отдохнул и к тому же был еще расстроен тем, что доставшийся ему двухэтажный дом в г. П. был гораздо хуже одноэтажного дома в г. Вятке, а поправлять его было *не на что*. Да, буквально не на что!.. Архиерей был *беден*, и хотя у него было триста рублей, которые он, по его словам, «заработал честным трудом», но он поэтому-то и не хотел отдать их на поправку архиерейского дома. Притом же ему было досадно, что его *повысили*, – при переводе произвели из епископов в архиепископы, – а более существенного ничего не дали. Он этим обижался, находя, что ему «позолотили пиллюлю». Вдобавок ко всему, владыка отдыхал от своего весьма дальнего пути и не совсем хорошо себя чувствовал, а нетерпеливые благочестивцы в это время на него набежали. Усталый архиерей начал позевывать и замечать:

– Не к дождю ли? что-то морит...

И действительно, пошел дождик, сначала малень-

кий, а потом и большой.

– Эге, да вам надо зонт, – сказал владыка и велел подать зонтик, с которым он имел привычку гулять по саду.

Оба святоши встали, но вот новая беда: оба они считали слишком большою для себя честью «идти под *владычным* зонтиком» и стали перекоряться.

– Нет, я не могу, я чувствую, что я недостойн идти под *владычным* зонтиком.

– А нет, уже идите вы – я еще менее достоин держать *владычный* зонтик.

И все это у самого крыльца, под окнами у владыки, а дождь их так и поливает.

В это время откуда ни возьмись какой-то балда и говорит:

– Оба вы недостойны ходить с *владычным* зонтиком, а потому я его у вас беру.

И с этим хватъ! да и был таков, а глядевший на все это владыка, вместо того чтобы рассердиться и послать погоню, расхохотался и говорит:

– А что же такое: это резент! он умно рассудил! Что за святыня, взаправду, в моем зонтике?

N. и Z. долго ломали головы: как мог так опрометчиво сказать владыка и не есть ли это своего рода нигилистическая ересь?

Вскоре за тем епископ стал собираться летом сде-

лать объезд части своей обширной епархии. Узнав об этом, N. тотчас же просил его не лишить своего посещения его «пустынку» и благословить его детей, которые обыкновенно съезжаются к старику на лето из Петербурга.

Владыка едва ли считал нужным быть в «пустынке», где, как он достаточно знал, благодаря усердию помещика не только все внешним образом исправно, но даже великолепно: однако, по доброте своей и по отличавшему его неумению говорить слово «нет», он склонился на просьбу N. и дал ему обещание быть у него в гостях около Петрова дня.

К Петрову дню молодые люди, живущие обыкновенно в столице, всегда приезжали на отдых к отцу в «пустынку», и потому обещание архиерея было во всех отношениях удобно и приятно для благочестивого хозяина. Загодя еще об этом было возведено местным причтам, которые сейчас же и взялись за «божие дело», то есть начали тщательно перетирать все вещи в храме и мыть стекла, а сам N. в это время блаженствовал за хлопотами по приготовлению помещения для владыки. Ему, разумеется, устраивали покои в доме, а во флигелях – для его свиты, которая у прежних здешних архиереев всегда была очень обширна. В покои владыки наставили икон и настлали перед ними ковров, чтобы его преосвященству «не грубо было

кланяться», а в свитских покоях, во флигеле, учредили «столы», так чтобы все, могущее здесь произойти, произошло *скромно*. N. был уверен, что, когда здесь вся челядь будет питаться, он с владыкою поведет целонощную Никодимову беседу и сподобится сам прочесть его высокопреосвященству полунощницу.

Затем оставалось только ждать этой радости, и притом недолго: около Петрова дня, в самую веселую сельскую пору уборку покосов, в «пустынку» прискакал за десять верст выставленный N. нарочный с известием, что владыка едет.

Глава одиннадцатая

Н. тотчас же сел в экипаж и поскакал навстречу «дорогому гостю».

Помещик выехал один, потому что не считал удобным представлять владыке детей на дороге, и к тому же он не знал, «как его преосвященство с ним обойдется». После происшествия с «владычным зонтиком» Н. несколько сомневался насчет владыки, и сомневался даже до такой степени, что не был уверен, удостоит ли владыка пересадить его к себе в карету, как это делали все его предшественники, или же оставит его скакать по-полицмейстерски, спереди или сзади. Это и в самом деле могло серьезно озабочивать Н., потому что он очень любил почет, и все прежние п—ские владыки обыкновенно сажали его с собою в карету. Отчего же было его этим не утешить, особенно после такой *двусмысленной* истории с «владычным зонтиком», которую человек более решительный назвал бы просто «владычным нигилизмом»?

И вот, с небольшим через полчаса, на пологом косогоре, далеко видном с верхнего этажа дома, показался быстро несшийся столб пыли, а в нем архиерейский поезд, который, однако, оказался очень малым. К храму подскакали только троечные дрожки, в которых

сидел несколько недовольный или смущенный N., а в карете очень простой старичок с добродушным лицом, в черном клобучке, за ними же, в заднем кабриолете за каретою, человек, который один и составлял *всю свиту* архиерея. Это, между прочим, было одною из причин заметного на лице хозяина смущения. N. не привык к такой простоте и считал ее новым признаком всюду проникающего нигилизма, который мог иметь дурное влияние не только на крестьян, но и на детей владельца и на самое духовенство. К тому же эта столь желанная и столь благодетельная для бедного сельского духовенства простота оставляла без употребления многое из приготовленного к угощению предполагаемой обширной компании и портила весь эффект встречи. Даже и «исполлаети деспота» некому было грянуть при входе владыки. Как хотите судите, а добрый православист не мог оставаться спокоен и доволен, видя такое «разорение отеческого обычая».

Но кроме того, N. имел еще сугубое огорчение в том, что владыка не только не посадил его в карету, а даже «уязвил его» за усердие. А именно, он просто раскланялся с N. в окно и спросил:

– Куда поспешаете? верно, по делу хозяйственному? Резент! Дела прежде всего, а я и без вас справлюсь.

– Нет, как можно, владыко! Я нарочно выехал на встречу вашему преосвященству.

– А для какой причины?

Н. смешался; он не ожидал такого странного вопроса и отвечал:

– Так... хотел засвидетельствовать вам мое почтение.

– Ну вот! эго дело какое! Это и дома бы можно.

– Хотел благословения, владыко...

– Ага! благословения; ну, Боже вас благослови, – отвечал владыка, – а теперь садитесь же поскорей на свое место да погоняйте. Жарынь, я устал, в холодок хочется.

И, усадив Н. на его прежнее местечко, владыка прикатил, как доселе ехал, один в своей карете и затем непосредственно начал ряд крайне смущавших благочестивого хозяина «странных поступков в нигилистическом штиле».

Во-первых, епископ ходил скоро, и когда, при вступлении его в церковь, дети помещика (между коими один был в мундире кавалерийского офицера) пропели «Достойно есть» и «исполатие», то он остановился и слушал их с большим вниманием и удовольствием, а потом похвалил их и, скоро обойдя храм, опять принялся хвалить их стройное пение. Узнав же от молодых людей, по выходе из церкви, что они состав-

ляют домашний хор, которым исполняют оперное хоровое пение, пожелал послушать их *светское пение*. Это старому N. казалось уже совсем соблазнительно, а молодые люди с удовольствием спели для епископа несколько мест из «Жизни за царя» и из «Руслана», а также из «Фауста» и из «Пророка».

Владыка все слушал и все одобрял. Затем, усмотрев, что недалеко перед домом на лужайке убирают сено, он захотел пройтись на покос и был так прост, что взял из рук одной девушки грабли и сам прогреб ряд сухого сена. А на обратном пути с сенокоса к дому, повстречав возы с сеном, он до того увлекся мирскими воспоминаниями, что проговорил из козловского «Чернеца»:

Вот воз, укладенный снопами,
И на возу, среди снопов,
Сидит в венке из васильков
Младенец с чудными глазами.

И опять все простое, человеческое, а ничего ни о попах, ни о дьяконах и о просвирнях. К вечеру же владыка даже пожелал половить в местном пруду карасей, смотрел на эту ловлю с большим удовольствием и не раз ее похваливал, приговаривая:

– Старинная работка – апостольская! Надо быть ближе к природе – она успокоивает. Иисус Христос все

моря да горки любил да при озерцах сиживал. Хорошо над водою думать.

И так он провел весь день совсем без всяких разговоров о странниках и юродивых и, покушав чаю, отказался от ужина и попросил себе только «Христова кушанья», то есть *печеной рыбки*. Затем он ушел в отведенные ему комнаты, но от услуг Н., который его сопровождал и просил позволения прочитать ему полунощницу, отказался, сказавши:

– До полунощи еще далеко; я тогда сам почитаю, а пока пришлите-ка мне какой-нибудь журнальчик.

– Какой прикажете, владыка: «Странник» или «Православный собеседник»?

– Ну, эти я дома прочту, а теперь нет ли – где господин Щедрин пишет?

Старый Н. этого не понял, но молодые поняли и послали владыке «Отечественные записки», которые тот и читал до тех самых пор, пока ему приспел час становиться на полунощницу. Своего дела он, несмотря на всю усталость, не опустил – огонь в его окнах светился далеко за полночь, а рано утром на другой день епископ уже дал духовенству аудиенцию, но опять очень странную: он все говорил с духовенством *на ходу* – гуляя по саду, и потом немедленно стал собираться далее в путь, в город О.

Бенефис, который готовил себе в архиерейском по-

сещении N., совершенно не удался, и только «высокое почтение к сану» воздерживало хозяина от критики «не по поступкам поступающего» гостя. Зато младшее поколение было в восторге от милой простоты владыки, и владыка в свою очередь, по-видимому, чувствовал искренность сердечно возлюбившей его молодежи.

Это можно было видеть из всего его поведения, и особенно из того, что, не соглашаясь оставаться обедать по просьбе самого N., он не выдержал и сдался, когда к нему приступили с этою просьбою кавалерист, два студента и молодые девушки и дамы. Он их только спросил:

– Но для какой же причины я должен еще остаться?

– Да нам, ваше преосвященство, хочется с вами побыть.

– А по какой причине вам так хочется?

– Так... с вами как-то очень приятно.

– Вот тебе раз!

Владыка улыбнулся и добавил:

– Ну, если приятно, так резент: я остаюсь – только вы мне за это хорошенько попойте.

И он остался, попросив хозяина не беспокоиться особенно о его обеде, потому что он все «предлагаемое» кушает.²² Просидев почти все дообеденное вре-

²² Кушать «предлагаемое» без строгой критики, кажется, не только

мя в зале, владыка опять слушал, как ему, под аккомпанемент фортепиано, пропели лучшие номера из «Жизни за царя», «Руслана» и многих других опер.

Откушав же, он тотчас стал собираться ехать, и карета его была подана во время кофе. Он как приехал один с своим слугою «Сэмэном», так с ним же одним хотел и уезжать, но три молодые брата Н. явились к нему с просьбою позволить им проводить его до г. О.

– А по какой причине меня надо провожать? – спро-

позволительно, но даже полезно, а несоблюдение этого, напротив, ведет иногда к соблазнам, и притом таким, которые после никак нельзя разьяснить. Так, например, епископ Л., посетив в г. Минске известного епископа Михаила (из униатов), остался у него кушать с некоторым страхом, потому что был *предубежден*, будто владыка Михаил кушает мясное. Но как к столу были званы и другие гости, то преосвященный Л. думал, что при людях этого не случится. Но предубежденность преосвященного Л. довела его до того, что все подаваемые к столу блюда стали ему казаться *мясными!*– Не могу, владыка, – сказал гость хозяину, отведав одну ложку, – это говяжий бульон.– Успокойтесь, ваше преосвященство: это такая уха.– Какая же это уха?– Уха, я вам докладываю, и прошу кушать. Но преосвященный Л. не поверил и кушал хотя не без аппетита, но со смущением, а через то, разумеется, предубежденность его еще более увеличилась. И вот подают второе блюдо, сделанное *вперекладку*, и хозяин спрашивает гостя:– Какой рыбы позволите вам положить, этой или этой? Но предубежденный гость уже совсем на блюде рыбы не видит, а видит только рябчиков *вперекладку* с индейкой!.. И предубежденному епископу Л. все это было так трудно скушать, что у него сделалась отрыжка, на которую он не переставал жаловаться даже до самого недавнего времени, когда епископ Михаил уже был удален на покой и должен был сократить свое хлебосольство до крайнего *minimum'a* (*прим. Лескова*).

сил владыка.

– Здесь глухая дорога, ваше преосвященство.

– А я не боюсь глухой дороги: у меня денег только триста рублей, и те честным трудом заработаны.

– Да нам хочется вас провожать, владыка.

– А если хочется... это резент, – сопровождайте.

И поездка состоялась с провожатыми. Архиерей сел, как приехал, в свою карету, а впереди его курьерами снарядились в большом казанском тарантасе три рослые молодца: мировой посредник, офицер и университетский студент. Сам хозяин, видя, что его владыка не приглашает, остался дома. Он удовольствовался только тем, что проводил поезд за рубеж своих владений и, принимая здесь прощальное благословение от архиерея, выразил ему свою о нем заботливость.

– В О. там ничего нельзя достать, владыка, так вы меня не осудите.

– А по какой причине я вас могу осуждать?

– Я велел кое-что сунуть вашему слуге под сиденье.

– А что именно вы под моего Сэмэна подсунули?

– Немножко закусок и... шипучего.

– А для чего шипучего?

– Пусть будет.

– Ну, резент; пусть будет. Сэмэн, сохрани, друг, под тебя подложенное.

И с тем хозяин возвратился, а поезд тронулся далее.

От «пустынки» до города О. на хороших разгонных конях ездят одною большою упряжкой, и владыка, выехавший после раннего обеда, должен был приехать в город к вечеру. Время стояло погожее, и грунтовые дороги были в порядке, а потому никаких «непредвиденностей» не предвиделось, и оба экипажа пронеслись доброе полпути совершенно благополучно и даже весело. Веселости настроения, конечно, немало содействовало и то, что путники, скакавшие впереди в тарантасе, молодые люди, тоже выехали не без запаса и притом не закладывали его очень далеко. Но они не совсем верно разочли и раньше времени заметили, что оживлявшая их возбудительная влага исчезла прежде, чем путь пришел к концу. Достать же восполнение оскудевшего дорогою негде было... кроме как у архиерея, которому хлебосольный старец предупредительно сунул что-то под его Сэмэна.

И вот расшалившаяся молодежь немножко позабылась и пришла к дерзкой мысли воспользоваться архиерейским запасом. Весь вопрос был только в том: как это сделать? Просто остановиться и попросить у архиерея вина из его запаса казалось неловко, обратиться же за этим к Сэмэну – еще несообразнее. А между тем вина достать хотелось во что бы то ни ста-

ло, и желание это было исполнено.

Ехавший впереди тарантас вдруг остановился, и три молодые человека в самых почтительных позах явились у дверей архиерейской кареты.

Владыка выглянул и, увидев стоявшего перед ним с рукою у козырька кавалериста, спросил:

– По какой это причине мы стали?

– Здесь, ваше преосвященство, в обычае: на этом месте все останавливаются.

– А по какой причине такой обычай?

– Тут, кто имеет с собою запас, всегда тосты пьют.

– Вот те на! А по какой же это причине?

– С этого места... были замечены первые месторождения руд, обогативших отечественную промышленность.

– Это резент! – ответил владыка, – если сие справедливо, то я такому обычаю не противник. – И, открыв у себя за спиною в карете форточку, через которую он мог отдавать приказания помещавшемуся в заднем кабриолете Сэмэну, скомандовал:

– Сэмэн, шипучего!

Сэмэн открыл свои запасы, пробка хлопнула, и компания, распив бутылку шампанского, поехала далее.

Но проехали еще верст десять, и опять тарантас стал, а у окна архиерейской кареты опять три молодца, предводимые офицером с рукою у козырька.

Владыка снова выглянул и спрашивает:

– Теперь по какой причине стали?

– Опять важное место, ваше преосвященство.

– А по какой причине оно важно?

– Здесь Пугачев проходил, ваше преосвященство, и был разбит императорскими войсками.

– Резент, и хотя факт сомнителен, чтобы это было здесь, но тем не менее, Сэмэн, шипучего!

Прокатили еще, и опять тарантас стоит, а молодые люди снова у окна кареты.

– Еще по какой причине стали? – осведомляется владыка.

– Надо тост выпить, ваше преосвященство.

– А по какой причине?

– Здесь, ваше преосвященство, самая высокая сосна во всем уезде.

– Резент, и хотя факт совершенно не достоверен, но, Сэмэн, шипучего!

Но «Сэмэн» не ответил, а звавший его владыка, глянув в форточку, всплеснул руками и воскликнул:

– Ахти мне! мой Сэмэн отвалился!

Происшествие случилось удивительное: за каретой действительно не было не только Сэмэна, но не было и всего заднего кабриолета, в котором помещалась эта особа со всем, что под оную было подсунуто.

Молодые люди были просто поражены этим про-

исшествием, но владыка, определив значение факта, сам их успокоил и указал им, что надо делать.

– Ничего, – сказал он, – это событие естественно. Сэмэн отвалился по той причине, что карета и вся скоро развалится. Поищите его поскорее по дороге, не зашибся ли!

Тарантас поскакал назад искать отвалившегося Сэмэна, которого и нашли всего версты за две, совершенно целого, но весь бывший под ним запас шипучего исчез, потому что бутылки разбились при падении кабриолета.

Насилу кое-как прицепили этот кабриолет на задние длинные дроги тарантаса, а Сэмэна усадили на козлы и привезли обратно к владыке, который тоже не мог не улыбаться по поводу всей этой истории и, тихо снося довольно грубое ворчание отвалившегося Сэмэна, уговаривал его:

– Ну, по какой причине так гневаться? Кто виноват, что карета *напьянилась*.

По таком финале поезд достиг города, где сопровождавшие владыку молодые люди озаботились тщательно укрепить кабриолет Сэмэна к карете и здесь, прощаясь с преосвященным Н—м, испросили у него прощения за свою вчерашнюю шалость.

– Бог простит, Бог простит, – отвечал владыка. – Ребята добрые, я вас любил и угощал за то, что со-

гласно живете.

– Но, владыка... вы сами так снисходительны и добры... Мы вас никогда не забудем.

– Ну вот! петушки хвалят кукука за то, что хвалит он петушков. Меня помнить нечего: умру – одним монахом поменеет, и только. А вы помните того, кто велел, чтобы все мы любили друг друга.

И с этим молодежь рассталась с добрым старцем навсегда.

Кажется, по осени того же года старший из этих трех братьев, необыкновенно хорошо передававший *manière de parler*²³ епископа Н—та, войдя с приезда в свой кабинет, где были в сборе короткие люди дома, воскликнул:

– Грустная новость, господа!

– Что такое?

– Сэмэн больше уже не даст петушкам шипучего! – сказал он, подражая интонации преосвященного Н—та.

– А по какой причине? – спросили его в тот же голос.

– Милый старичок наш умер – вот номер газеты, читайте.

В газете действительно стояло, что преосвященный Н—т скончался, и скончался в дороге. Вероятно,

²³ Манеру разговора (франц.).

при нем был его «Сэмэн», но как о малых людях, состоящих при таких особах, не говорится, то о нем не упоминалось. Впрочем, хотя все это было сказано показанному, но, однако, не обошлось без теплоты, вероятно совсем не зависевшей от хроникера. Сказано было о каком-то сопровождавшем владыку протоиерее, которому добрый старец, умирая, устно завещал употребить на доброе дело всё те же пресловутые триста рублей, «нажитые им честным трудом» и составлявшие все оставленное этим архиепископом наследство. Деньги эти он всегда носил при себе, и они оказались в его подряснике.

Как он их «нажил честным трудом», это остается не выяснено, но некто, знавший покойника, полагает, что, вероятно, он получил их за сделанный им когда-то перевод какой-то ученой греческой книги.

Наступник этого ласкового и снисходительного епископа, ездившего в ветхой карете и читавшего на сон грядущий сатиры Щедрина, кажется, не имел никаких поводов жаловаться, что предместник его сдал ему епархию в беспорядке. Она, подобно многим частям русского управления, умела прекрасно управляться сама собою, к чему русские люди, как известно, отменно способны, если только тот, кто ими правит, способен убедить их, что он им верит и не хочет докучать им на всякий шаг беспокойною подозрительностью.

За сим, сказав мир праху и добрую память доброму старцу, перейдем к лицам тоже добрым, но гораздо более тонким и политичным.

Глава двенадцатая

Есть очень распространенное, но совершенно ложное мнение, будто наши архиереи все зауряд люди крутые и неподатливые, будто они совсем безжалостны к скорбям и нуждам мирских человеков. Такое давно сложившееся, но, как я смею думать, неосновательное или по крайней мере слишком одностороннее мнение особенно раздражительно выразилось в последнее время, то есть именно в то время, когда представительство церкви, по-видимому, как будто начало сознавать необходимость не раздражать более против себя русское общество и без того раздраженное до весьма искренней неприязни к духовенству.

Новый повод к самым сильным раздражениям был дан в 1878 году, и причиною к нему было так называемое в газетах неожиданное «фиаско брачного вопроса в св. синоде».

Синодальные суждения по этому *ноющему* вопросу русской жизни далеко не вполне известны всему обществу, которое должно было довольствоваться только краткими «резюме», а в них для него не было ничего утешительного. Люди, несчастливые в браке, опять остались в безотрадном и безвыходном по-

ложении – тянуть целую жизнь тяжкое и неудобноносимое бремя несносного сожительства при взаимных неладах и ненависти. Выходы остались прежние: или смерть, или клятвопреступническая процедура нынешнего развода, или преступление вроде того, какое нам являет судебная хроника в харьковском деле об убийстве доктора Ковальчукова. Желать смерти даже ненавистного человека отвратительно; искать союза с клятвопреступниками, содействие которых необходимо при нынешних законах о разводе, не менее отвратительно и притом сто́ит очень дорого. Это возможно только людям богатым, а семейное счастье желательнее и потребно каждому, – бедному оно даже нужнее, чем богатому. Третий способ разделаться с ненавистным союзом есть преступление, на которое, к счастью человечества, способны очень немногие относительно всего числа несчастливых супругов. Далее, выходя из всякого терпения, люди, при какой-нибудь доле благоразумия, предпочитают то, что, по господствующим понятиям, хотя и составляет позор, но при всем том дает людям какой-нибудь призрак семейного счастья: у нас все более и более распространяется безбрачное сожительство поневоле. Люди эти несут некоторое тяжкое отчуждение и, страдая от него, конечно не благословляют и никогда не благословят тех, кого они считают виновниками своих несчастий, то

есть защитников тягостнейших и невыносимых условий нерасторжимого брака при несходстве нрава и характеров.

Понятно, что когда, при таких обстоятельствах, обществу стало известно, что брачный вопрос, поднятый в синоде по почину бывшего об. – прок. гр. Толстого, лица светского чина, «потерпел полнейшее фиаско» по неподатливости лиц чина духовного, то это не содействовало притуплению чувства раздражения, питаемого многими против епископов, но, напротив, рожон, против которого решились прать представители церкви, еще более обострился. Послышались речи памятные и страшные, которые можно извинить только тем состоянием ужасной намученности, от которой впадали в отчаяние люди, потерявшие в этом «фиаско» всякую надежду поправить свою несчастную жизнь. Говорили: «Наши епископы, верно, сами хотят доводить нас до клятвопреступничества и даже до преступлений еще более тяжких! Пусть же будет так, но тогда мы знать не хотим этой церкви, у которой такие жестокие предстоятели».

И было это раздраженное, но неосновательное слово так внятно и так жестоко, что оно, кажется, должно бы проникнуть и за те высокие стены, которыми ограждали себя неподатливые устроители этого фиаско. И было бы непонятно и ужасно, как этот

стон не тревожил их сна и не вредил их аппетиту, если бы... *если бы они могли поступить иначе*. Но дело именно таково, что при данном ему направлении они, *как люди духовного чина*, не могли поступить иначе: они не могли руководиться ни чувствами, ни логикой явлений, которые решительно становятся нас на сторону лиц, считающих пересмотр и реформу брачного вопроса в России настоятельно необходимыми. Их действиями правила и должна была править логика иных начал, от которых они не могли и не могут отступить своею властью. Но общество наше, или вовсе не знающее церковной истории, или знающее ее только по учебникам, одобренным св. синодом, никаких подобных вопросов не может здраво обсуждать, а умеет только раздражаться. Оно *так воспитано*.

Но здесь не место разбирать интереснейший и самый животрепещущий брачный вопрос, с непостижимым и, можно сказать, предосудительным равнодушием оставляемый нынче без внимания нашей печатью.²⁴ Тронув его, надо тронуть очень большую и важ-

²⁴ Очень замечательно, что печать довольно усердно и довольно основательно трогала этот вопрос, когда он совсем не циркулировал в правительственных сферах (см. статьи г. Филиппова в «Современнике»); но когда вопрос поступил на очередь и подлежал решению, печать не оказала ему сравнительно самой малой доли того внимания, на которое надлежало бы, кажется, рассчитывать в интересах общества. Потеря от этого для общества произошла большая. Конечно, нет никакого основа-

ную материю, для чего потребовалось бы не только много времени и места, но и много знания и обстоятельности, а моя задача иная, более легкая и более общая. Я не пишу исследования причин фиаско брачного вопроса в св. синоде в 1878 году и не обязан представлять критике воззрений, руководивших устроителями этого фиаско. Я хочу только показать живыми очерками архиерейских отношений к людям, страдавшим от пут этого рокового вопроса, что об архиереях несправедливо заключать по этому «фиаско». Многие (если не все) епископы в душе совсем

ния думать, что даже самая энергическая поддержка со стороны печати могла изменить сущность решения, которое можно было предвидеть и которое не могло быть иным при данном этому делу направлении. Но печать, несомненно, могла придать вопросу всю важность его общественного значения и указать другие основания, на коих вопрос о браке может быть и должен быть рассмотрен в сферах, властных дать ему исход более надежный и более удовлетворяющий положению самому мучительному и невыносимому. Печать в этом случае не была связана *ничем*, кроме разве изобилия более интересных материалов, постоянно накаплиющихся в деловых портфелях русских редакций. Мне, однако, достоверно известно, что лучший компромисс, при котором можно было ожидать самого удовлетворительного решения нашего брачного вопроса, был предложен не публицистами и не юристами, а епископом Филаретом Филаретовым (ум. в Риге), очень умное неофициальное заявление которого обер-прокурору Д. А. Толстому, к сожалению, оставлено без внимания. Немудрено, что, когда мучительный вопрос о брачной реформе снова появится на сцене, это резонное мнение будет уже слишком прочно позабыто и дело опять пойдет не лучшим путем и опять завалится в долгий ящик (*прим. Лескова*).

не так жестки и бессердечны, как это думают озлобленные мученики семейного ада, и я приведу тому небезынтересные и характерные примеры в наступающих рассказах. Они, как я надеюсь, могут показать, что нашим архиереям вовсе не чужды доходящие до них скорби мирских человеков, нуждающихся в милосердном снисхождении к их брачным затруднениям. Мы увидим, что архиереи иногда делают для облегчения этих затруднений не только все, что могут, но даже порою идут в своем соболезновании гораздо далее.

Первый случай такого рода я знаю в моем собственном родстве.

Некто А. Т<иньков>, довольно родовитый и крупный помещик О<рлов>ской губернии, был женат на своей кузине. Несмотря на их непозволительный по степени родства брак, они были обвенчаны и жили так благополучно, как будто на союз их самым законным образом низошло самое полнейшее божеское благословение, которого, казалось бы, ничто не в состоянии нарушить. И муж и жена были известны за очень хороших людей, каковыми, вероятно, считал их и местный преосвященный Поликарп, очень строгий монах и чудак, но очень добрый человек, неоднократно посещавший супругов Т—вых в их родовом селе Х<омут>ах на берегу реки Оки. У Т—вых было уже несколько детей, и вдруг над ними грянул гром, и при-

том, что называется, грянул не из тучи, а из навозной кучи. Божие благословение, благоуспешно призванное на это семейство церковью и, видимо, на нем опочившее, захотел снять и снял пьяный дьячок. Это был изрядный забулдыга, который повадился ходить к А. Т. «кучиться», то есть просить у него то дровец, то соломы. Он страшно надоедал этим попрошайством, которое вдобавок обратил в промысел: что выпрашивал, то не довозил до дому, а переводил в кабаке на вино.

Узнав об этом, Т. прекратил отпуск дьячку яровой соломы, и когда тот опять стал докучать и попал под руку во время крайней досады, причиненной прорвою мельничной плотины, то Т. прогнал его не совсем вежливо и, по былой дворянской распущенности, не придал этому особенного значения. Велика ли важность велеть людям вытолкать пьяного дьячка из дому? Но дьячок был на сей раз с амбицией: он почел причиненную ему обиду за важное и отметил за себя знатно и чисто по-дьячковски.

Неделю или две спустя после этого домашнего события в селе X—х Т. получил от домашнего секретаря покойного еп. Поликарпа приглашение немедленно пожаловать в город к владыке по самому важному делу.

Таинственное дело это был донос, присланный

обиженным дьячком, на незаконность брака Т—ых, повенчанных в недозволенной степени родства.

Еп. Поликарп вызвал Т—ва только для того, чтобы сообщить ему об этом неприятном событии, которого архиерей никак не мог оставить без последствий, и рекомендовал Т—ву по дружбе спешить в Петербург, где назвал дельца, способного уложить все дело о расторжении брака «под сукно, до умертвия».

Т. запасся знатною и, по его соображениям, достаточною для удовлетворения дельца суммою, простился с детьми и с опечаленною женою и прикатил в Петербург.

Я его постоянно видел у себя в эту пору и знаю все перипетии дела до мельчайших подробностей. Оно началось, как говорят, «с удавки». Хорошо аттестованный преосвященным Поликарпом делец даже и состоятельному Т—ву приходился не под силу. Не за то, чтобы опровергнуть донос и утвердить брак двоюродного брата с сестрою, а только за то, «чтобы уложить дело до умертвия», он, не обинуясь, запросил русскую сказочную цену «до полцарства» и ни о чем меньше не хотел и разговаривать. «Полцарства» — это был его прификс.

Дело это происходило лет двадцать пять — двадцать шесть тому назад, и учреждение, от которого оно зависело, было не в нынешнем составе; но, одна-

ко, уже и тогда в нем появлялись новые отважные люди, заменившие старинных подьячих, бравших «помельче да почаше». Преосвященный Поликарп, конечно, и не знал этого нового типа облагороженных взяточников, перед которыми прежние «хапунцы аки бы кроткие агнцы». Притом же делец стоял на почве законности и, стало быть, мог никого не бояться. Что было делать? «Отдать до полцарства», как он просил с остроумною шутливостью, конечно было жалко, да и жирно. Это составляло тысяч около тридцати. Но остановиться на одних переговорах и не дать этих денег значило явно погубить дело самым решительным и притом безотлагательным способом. Делец слыл за человека сколько смелого и ловкого, столько же корыстолюбивого, злого и мстительного.

Все это Т—в соображал и обсуждал, бродя целых три месяца в Петербурге, между тем как в О<рле> дело его было уже решено как нельзя для него хуже.

Думал, думал бедный Т—в и, наконец, истерзанный мучениями жены и раздраженный тоскою и огромными упущениями по хозяйству, решил дать алчному чиновнику «до полцарства». Но как такой наличной суммы у помещика в руках не было и реализовать ее тогда было еще труднее, чем нынче, делец же был, разумеется, человек осторожный и не шел ни на какие сделки, а требовал наличность, то ввиду

всего этого Т. послал жене распоряжение немедленно запродать все свое имение приценившемуся к нему богачу М—ву, а деньги доставить как можно скорее в Петербург для вручения их дорогому благодетелю.

Молодая дама, конечно, не прочь была исполнить требование мужа, но, по свойственной большинству дам бережливости, не могла расстаться с своим добром, по крайней мере хоть не оплакав его. Ей хотелось спасти свой брак, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до полуцарства».

И вот, по непростительному, но опять весьма свойственному некоторым дамам радикализму, расстроенной молодой женщине вдруг стало представляться, что вся эта игра не стоит такой дорогой свечки.

«Бросить все, да и конец сразу со всеми дьячками и попами и теми, кто еще их повыше», — вот что внезапно пришло ей в ее расчетливую головку.

Она с большим трудом удержалась отписать в этом тоне мужу и еще с большим усилием заставила себя ехать в г. О. с тем, чтобы начать там переговоры о желании продать родовое имение, которое злополучные супруги надеялись передать детям.

В горе, почти близком к отчаянию, прибыла Т—ва в О. и послала человека за неким «Воробьем», мещанином, исполнявшим тогда в этом городе всякие маклерские комиссии, но посол не застал знаменитого

«Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не сидеть одной вечер с своим горем, вздумала проехать к кому-нибудь из своих посоветоваться. Но дело было летом, когда О., представлявший тогда, по выражению близко знавшего его романиста, «дворянское гнездо», был пуст: вся его родовая знать жила в эту пору в своих местностях, и советоваться было не с кем, с местными же деловиками дама не хотела говорить, да и не видала в том никакой для себя пользы.

В таком положении, грустная и одинокая, не видя ни в ком из людей помощи и защиты, она вспомнила о самом последнем помощнике, призываемом как бы из-за штата, — она вспомнила о Боге. Мысль отдать праздный и тяготящий своею пустотою час молитве показалась ей такою утешительною и счастливою, что она немедленно же привела ее в исполнение.

Случай благоприятствовал молитвенному настроению огорченной дамы: в то самое время, как она пожелала обратиться к «последнему защитнику», в церквях ударили ко всенощной, и люди потянулись к храмам. В это время в О. была «болезнь на людях», и все население города было настроено построже, почутче и побогобоязнее. Т—ва вспомнила об уютном уголке в домово́й церкви преосвящ. Поликарпа и немедленно же отправилась туда «выплакаться: не просветит ли бог, что ей сделать?».

Таковы, по ее собственным словам, были ее мысли, которым она намерена была просить услышания.

Вздумано и сделано: Т—ва приехала в монастырь и застала домовую церковь довольно отдаленного архиерейского дома почти совсем пустою. Всенощную служил простой иеромонах, а архиерея не было видно: как после оказалось, он стоял у себя в комнате, из которой, по довольно общему архиерейским домам обычаю, было проделано в церковь окно, занавешенное голубою марлею.

Т—ва стала на колени в уголке, за левым клиросом, и молилась жарко, сама не помня откуда взяв для своей молитвы слова:

«Боже! по суду любящих имя твое, спаси нас!»

Иного она ничего не могла ни собрать в своем уме, ни сложить на устах и, как ветхозаветная Анна, только плакала и шептала:

– Спаси нас, по суду любящих твое имя, – и в том была услышана.

Выплакавшись вволю, молодая женщина даже не заметила, как окончилось служение и немногие богомольцы, бывшие в церкви, стали выходить. И она встала с колен и хотела идти вон, но вдруг к ней подходит архиерейский служка и от имени владыки просит ее завернуть на минутку к преосвященному Поликарпу.

Т—ва почитала о. доброго Поликарпа и в другой раз была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя слишком расстроенною и отказалась.

— Поблагодарите владыку, — сказала она, — я очень бы рада услышать его слово, но я очень, очень расстроена...

И она пошла далее, но не успела сделать несколько шагов, как ее снова остановил запыхавшийся келейник и говорит, что владыка потому-то и просит ее к себе, что он видел в окно, как она расстроена.

— Их преосвященство и сами не совсем хорошо себя чувствуют, — добавил келейник, — желудком недомогают, но они непременно хотят говорить с вами.

Дама подумала, что архиерей, может быть, скажет ей что-нибудь полезное по ее делу, и пошла за провожатым.

Едва она вошла в зал, как тотчас была встречена самим архиереем, который ласково протягивал ей обе руки.

Наблюдая бедную женщину в церкви и заметив ее сильное расстройство, он, очевидно, и сам растрогался.

— Что за горе печальное с вами? — заговорил преосвященный участливо, переводя даму в гостиную, где усадил ее на диван и, приказав подать чай, попросил гостью рассказать «все по порядку».

Дама рассказала все, что мы уже знаем из верхних строк нашего повествования.

Архиерей закачал головою, встал и молча начал ходить.

Пройдясь несколько раз по комнате, он остановился перед гостью и произнес:

– Дорого.

– Ужасно, владыка.

– Дорого... очень, весьма дорого!

– И посудите, владыка, где же я могу так скоро взять столько денег? – продолжала сквозь слезы дама.

– Где взять столько денег? Негде взять столько денег! Нет, это дорого.

– Но что же делать, владыка? Я должна исполнить, что приказывает муж...

– Должны, должны исполнить; мужняя воля прежде всего для хорошей жены... Но только очень дорого!

– Но как же нам быть, владыка?

– Как быть, как быть? Право, не знаю, как вам быть, но только это дорого.

– Я уже не знаю, что и предпринять...

– Да и не мудрено... Ишь как дорого!

– Не подадите ли вы, владыка, какого-нибудь совета?

– Да какие же мои советы? Я ведь вот указал на этого деловитого мужа, думал, хорошо выйдет, а он,

видите, как дорого. Нет, вам надо с кем-нибудь из умных людей подумать.

– Но когда думать, владыка, и где этих умных людей теперь искать?

– Да, это правда: умные люди везде редки, а у нас даже очень редки, и кои есть еще, очень извертелись и на добро не сродни. Ишь как дорожится... подай ему «до полуцарства». А самому с чем оставаться?

– С половиною только, владыка.

– Как говорите?

– Я говорю: самим нам придется оставаться с половиною.

– С половиною-то это бы еще ничего...

– Как ничего?

– Так, половины вашей еще бы, пожалуй, достаточно, чтобы поднять детей на ноги, но... Вы, право, лучше бы обо всем этом с каким-нибудь умным человеком поговорили: умный человек мог бы вас *одним* словом на полезное наставить.

– Ах, боже! да где я его сейчас возьму, владыка, такого умного человека? вы же сами изволите говорить, что они очень редки.

– Правда, правда, умные люди очень редки, но все-таки они есть где-нибудь в черном углу.

– Я не знаю, куда за ними – в какой угол метаться?... Да и в моем теперешнем положении, я думаю, и ника-

кой умник ничего для меня полезного не скажет, кроме как вынь да положь деньги, сколько требуют.

– Ох, не говорите этого; умник не то скажет.

– Право, то же скажет, владыка.

– Нет, умник иначе скажет.

Дама посмотрела на архиерея и думает:

«Что же это, твое преосвященство хитрит или помочь мне хочет», – и спрашивает его:

– А например: какое «одно слово» мог бы мне сказать умный человек?

– Умный человек умно и скажет.

– Да, ваше преосвященство, но что же бы он мог мне сказать? Какое он может знать «одно слово»?

– Ну, ведь это вам у него надо спросить.

– Да, но вы предположите, что я его спросила и жду его ответа... Что же он мне проговорит? Вы простите меня, ваше преосвященство, я так растерялась, что совсем бестолковая сделалась, и думаю, что в помощь мне никакой мудрец ничего изречь не может.

– Да, конечно, с вас требуют очень дорого, но мудрец все-таки мог бы порассудить...

– Но что же такое, владыка, он будет рассуждать?

– Что такое? Ну, например, будем говорить так...

– Я вас слушаю, владыка.

– Если он мудр и к тому же добр и сострадателен...

– Добр и сострадателен, как вы, владыка.

– Нет, не так, как я, а гораздо меня более, то... от-чего бы ему, например, не рассуждать так...

– Как же, как, владыка? – спросила нетерпеливая дама.

– Ну, положим, хоть вот как, – продолжал с расставками архиерей, – положим, что он, как умник, мог бы знать, как этого петербургского жадника безо всего оставить: он бы вам это ясно и вывел, а вы бы и успокоились.

Т—ва заплакала.

– Ах, бедная! Но чего же вы плачете?

– Владыка! вы ко мне немилостивы, это вы делаете, что я плачу.

– Я это делаю! но чем я это делаю?

– Конечно, вы, владыка! Я и так исстрадалась, но уже привыкла к мысли, что нам нет спасения, а вы оживили во мне надежду, а не хотите сказать, что же мне может присоветовать очень умный человек?

– Ну вот! разве я это знаю.

– Знаете.

– Да откуда же я знаю?

– Знаете.

Дама улыбнулась, и архиерей тоже.

– Позвольте, – сказал он, – я уже давно ни с одним умным человеком не говорил, но разве для вас... переговорить.

– Ах, переговорите, владыка! – воскликнула, всплеснув руками, дама и хотела броситься целовать его руки.

Архиерей ее удержал, посадил опять на кресло и молвил:

– Переговорить... да... переговорить... надо бы переговорить, но только...

На этом слове он неожиданно сморщился и сказал:

– Ну, извините, пожалуйста, я должен вас на минутку оставить...

С этим он повернулся к гостье спиной и быстрою походкою удалился в свои внутренние покои, откуда через неплотно притворенную дверь послышалось торопливое щелканье повернувшегося в пружинном замке ключа, и затем все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась в полном недоумении: она решительно не могла понять, что так неожиданно отозвало от нее доброго и, по-видимому, принимавшего в ней живое участие архиерея. Но, к счастью ее, в эту минуту появился келейник с подносом, на котором стояли две чашки чаю, сухари и варенье.

– Куда вышел владыка? – спросила тихонько дама; но келейник, несмотря на то, что имел в ухе серебряную сережку, сделал вид, будто не слышит.

– Где теперь владыка? – переспросила гостья.

Келейник более не отмалчивался, но, в тоне вопрошавшей, так же тихо ответил:

– Извините – этого я объяснить вам не могу.

– Но, однако, он дома?

– О, совершенно дома-с. Они скоро выйдут.

И, как бы для большего успокоения гостьи, что внезапно покинувший ее хозяин действительно скоро вернется, – служитель его преосвященства поставил на стол большую голубую севрскую фарфоровую чашку, из которой архиерей всегда кушал, и сам скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо в более оживленном настроении. Ей, во-первых, думалось, что архиерей выйдет или не с пустыми руками, а с нужными ей тысячами, которые и предложит ей немедленно займы, или же он принесет ей то «одно слово» умного человека, которое может обуздать и сделать безвредным петербургского жадника.

Конечно, вынести деньги было бы всего лучше, да притом и всего легче, так как, по мнению наших дам, у всех архиереев десятки и даже сотни тысяч всегда так и лежат готовые, на всякий случай, в шкатулке: стоит только его преосвященству щелкнуть ключом, опустить туда руку, вынуть пачки да отсчитать, – вот и дело в шляпе. Ключом уже она сама слышала как его преосвященство щелкнул, а теперь он, очевидно,

занят только отсчитыванием – поэтому келейник и не смел сказать, где владыка находится и чем он занят, – но сейчас он отложит, сколько ей нужно, денег и придет прежде, чем остынет чай в его севрской чашке. Конечно, ей будет немножко совестно брать, но что делать? – если он предложит ей, она, хоть это и конфузно немножечко, все-таки возьмет, а потом она ему отдаст. Какая же в этом беда?

И вот даме стало все легче и легче смотреть на свет и думать о своем деле. Легкий, игривый ум ее теперь уж только для забавы занимался разгадкой, какое это могло быть «одно слово», которое стоило только сказать – и все дело поправится. Разумеется, архиерей только для политики отсылал ее расспрашивать о таком слове умного человека, а в существе никакой другой человек тут не нужен, потому что владыка сам и есть человек умный и нужное гостье магическое слово он сам же и знает. Конечно, может быть ему нельзя, неловко выговорить это слово по его монашеским обетам или по чему-нибудь другому, но надо его к этому вынудить: надо вырвать у него это слово или *подловить* его на слове, как был подловлен известный своею тонкостью министр, которого она видела в театре, в прекрасно исполняемой Самойловым пьеске «Одно слово министру». Она вспомнила и Самойлова и то слово, которое он так художественно ловит.

В пьесе это слово было: «молчать», – но какое же должно быть то слово, не в театральной пьесе, а в русском деле «о расторжении незаконного брака и о прекращении безнравственного сожителства?» Это, конечно, не мешает знать.

И только что отвлеченная всем этим дама немножко порассеялась и даже утешилась, до слуха ее долетела опять звучная пружина замка какой-то отдаленной двери какого-то таинственного архиерейского покоя, и преосвященный Поликарп, с несколько изменившимся и как бы озабоченным лицом, появился на пороге. Он шел медленно и, конечно не без причины, держал свою правую руку за пазуху видневшегося из-под черной рясы шелкового коричневого подрясника.

Нечего было сомневаться, что он бережет тут отсчитанные им деньги.

Милой даме, имеющей общие понятия об архиерейских богатствах, конечно и в голову не приходило, что преосвященный Поликарп, как о нем говорили, «был не богаче церковной мыши»: этот архиерей был до такой степени беден, что сам занимал у своих подчиненных по «четвертной ассигнации».

Но в таком случае, что же он так бережно нес в руке, спрятанной за пазуху? Неужто «одно слово умного человека»? Но где же он нашел так скоро этого умно-

го человека? Или у него есть свой «черный угол», где такой человек спрятан? Но тогда зачем же он посылал ее разыскивать умного человека, если такой, как Святогоров конь, у него всегда наготове под замком, удила грызет и бьет от нетерпенья копытом об измрамран пол?

Все это было невыразимо любопытно и раздражительно.

Преосвященный молча сел к столу, положил себе в свою голубую чашку ложечку варенья и молча же начал ее долго и терпеливо размешивать.

Вежливая гостья не прерывала хозяина – она только искоса поглядывала на него, стараясь проникнуть, принес ли он ей нужные для взятки деньги, или он принес только одно могучее слово очень умного человека, с которым, как ей казалось, владыка удалялся для совещания.

И ей было крайне досадно на застенчивость архиерея, который, очевидно, был чем-то смущен и как бы не решался возобновлять прерванного разговора.

Она отпила свою чашку, поставила ее на стол и сделала решительное движение, как будто готовясь встать и распротиться.

Архиерей это заметил и, тронув ее слегка за руку, произнес:

– Не торопитесь.

Она осталась. Владыка опять мешкал, работая в чашке ложечкою, и, наконец, отпив чайку, начал, побряхтывая и морщась:

– Все так и идет, поветриями... то такая болезнь, то другая... У меня на сих днях проездом из Петербурга генерал был... тоже дела имеет и тоже досадует и жалуется: «совсем, говорит, умные люди у нас переводятся; прежде будто были, а потом стало все менее и менее, и теперь совсем нет». Как бывает годами от ветров неурожай на груши или на яблоки, так теперь недород на умы. Отчего бы это?

– Я не знаю, владыка.

– И я не знаю. Я ему только сказал, что неужели уже мы стали такое сплошь дурацкое соборище? «Не встречали ли, говорю, хоть проездом кого потолковее?» – «Да удивительно, говорит; едешь по дорогам, беседуешь, все будто умные люди – обо всем так хорошо судят, а дойдут до дела, ни в ком деловитости нет». Вот не в том ли, говорю, и есть наше поветрие, что деловитые-то умы у нас все по путям ходят, а при делах заместо них приставлена бестолочь?

– К чему же это мне, владыка?

– А к тому, что умных людей действительно остается искать только в глупом месте, куда мы их забили, точно какую непотребность. Вот отчего все и трудно и нудно.

Архиерей опять остановился, а дама обнаружила новое намерение встать, но он придержал ее.

– Это очень дорого с вас хотят, – заговорил влады-ка.

– Уж мы в этом, ваше преосвященство, согласи-лись. Но как это ни дорого, а все-таки я понимаю так, что надо скорее давать деньги.

– Из чего же это явствует?

– А из того, что нет другого спасения.

– Да; а в этом-то разве есть спасение?

– Мм... по крайней мере обещают, тогда как, – до-бавила она, улыбнувшись, – вы, владыка, даже не хо-тите мне сказать, что́ думает о моем несчастьи очень умный человек.

Архиерей поглядел на нее с некоторым недоумени-ем и в свою очередь спросил:

– Кого вы под сим разумеете?

Дама пошла на риск и ответила напрямик, что она говорит о том, с кем владыка выходил поговорить, оставляя ее в своей гостиной.

Архиерей посмотрел на нее еще с бóльшим недо-умением, но потом сию же минуту улыбнулся, махнул рукою и заговорил:

– Пх, так вы об этом!.. Куда я выходил... а что же? Пусть так. Ну, извольте: я от вас не скрою, что оный умник думал. Он тех мыслей, что деньги, разумеет-

ся, пустяки, помет в сравнении с семейным счастьем, но для иной свиньи и помета жалко. По его мыслям, деньги давать не следует, ибо через то ваше семейное спокойствие не устроится.

– А как же оно может устроиться?

– Это другой вопрос.

– Но умный человек, может быть, и об этом вопросе имеет мысли?

– Имеет.

– И как же он рассуждает?

– Сократически.

– Помилуйте, владыка: что же? Я ничего в этом не понимаю. Сократ был философ, а я простая женщина.

– Это ничего не значит, Сократа все понимать могут.

– Ну, позвольте – я попробую.

– Извольте. В мыслях умного человека предлагается такое суждение, как я сказал, почти в сократической форме. По какому поводу возникла вся эта история, простирающаяся ныне до половины вашего царства?

– Она возникла потому, что я и мой муж между собою двоюродные брат и сестра.

– Изрядно сказано, иначе она не могла возникнуть. Но если бы об этом никто не доносил, то не могла ли бы эта история не подниматься?

– Конечно, она никогда бы не поднялась.

– Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, хотя это всегда подвержено случайности.

– Какой, например?

– Такой, например, что кто-нибудь из родственников вашего мужа после его смерти мог претендовать на родовое наследство и доказывать незаконность вашего брака.

– Нам это и в голову не приходило.

– Верю. Теперь, продолжая держаться того же сократического метода, основателю человеку представляется нужным определить: не был ли причиной всего донос?

– Да, разумеется донос, владыка! Я не знаю даже, зачем на этом так долго путаться?

– Позвольте, позвольте! Причиной был донос – и кем же сделан тот донос?

– Вы отлично изволите это знать: донос сделан дьячком.

– Дьячком! Действительно, донос сделал дьячок. Но человеку рассудительному может прийти в голову: одни ли только дьячки способны делать доносы, или же этим могут заниматься и другие?

– Разумеется, не одни дьячки, ваше преосвященство, могут доносить. Вы все это изволите знать.

– Верно, так: я это знаю; но дело не во мне. Ум-

ный человек далее судит: доносы могут делать не одни дьячки, а кто же еще может делать доносы?

– Разные гадкие люди.

– Гадкие... – вам непременно хочется назвать их «гадкими»... Что же... конечно... разумеется... но, может быть... гм!.. дело ничего не потеряет, если мы нравственную оценку доносчиков отбросим. Для умного человека достаточно просто установить тот факт, что доносы могут делать *разные люди*. Согласны ли вы с ним на этот счет?

– С кем, владыка?

– Как – с кем?.. ну, с этим человеком, который так рассуждает?

– Да, я с ним во всем согласна.

– Прекрасно! Теперь, если так, – рассмотрите же с ним: не следует ли допустить, что в числе различных людей, способных делать доносы, могут быть и некоторые пономари?

– Конечно, допускаю, владыка.

– Прекрасно! Но как вы думаете: не могут ли делать доносы также и некоторые дьяконы?

– Верно, могут и дьяконы.

– Могут; но проследим далее. Если это могут делать дьяконы, то уверены ли вы, что это совершенно не по силам иным священникам?

– Ах, им все по силам!²⁵

– И им это по силам, – так. Ну теперь, выше восходя: что же вы скажете об иных отцах благочинных? Не благонадежны ли и они в рассуждении способностей доносить?

– То же самое скажу и о них, ваше преосвященство.

– Выше отцов благочинных нам подниматься уже не для чего. Уяснив себе все сказанное, толковый человек знает, что доносы могут поступать не от одного дьячка, а еще и от дьякона, и от попа, и от благочинного. Теперь обследуем другую сторону. По каким побуждениям сделал свой донос дьячок?

– Ему понадобился воз соломы; он пришел не вовремя, ему не дали; он рассердился и донес.

– Так; а не допускаете ли вы возможности, что пономарю может когда-нибудь понадобиться воз мякены, дьякону воз ухоботья, попу и отцу благочинному – возы овса и сена, да еще мешок крупчатки?

– Это все возможно, владыка.

– Да, сведущему человеку может показаться, что все такие случайности возможны, и он смотрит, какое каждое из них может иметь для вас последствие.

– То же самое, к какому привел донос дьячка.

²⁵ Ниже мы будем иметь случай убедиться, что рассуждавших таким образом архиерея и даму нельзя винить в голословности и пристрастии (прим. Лескова).

– Вы хорошо судите, очень хорошо судите. Следовательно, если дьячок достигает «даже до полуцарства», то того же самого могут достигнуть и поп и дьякон?

– Все равно.

– И всякий так должен судить, что это все равно; ну, а в вашем царстве сколько половин?

– Конечно, две только.

– Непременно две. Каждому известно, что во всяком целом бывают только две половины. Как же тогда быть, если половины всего две, а охотников уничтожить их множество? Не опасно ли, что таким образом из всего целого для себя не останется ни одной половины?

– То есть как это, владыка?..

– Да так; это человеку деловитому очень просто представляется. Если дьячков донос обойдется до полуцарства, и вы не успеете отдохнуть, как на вас уже пономарь донесет, – подавай другую половину. Отдадите, а затем, когда дьякон съябедничает, вам уже и давать больше нечего. Так или нет?

– Совершенно так, владыка.

– Думается, что так, потому что третьей половины уже нет; и тогда что же? Тогда сукно-то вскрыется, и все, под него упрятанное, выскочит на свет. И не будет тогда у вас ни всего царства, ни законнобрачия, ко-

того вас лишают доносы. А посему благоразумный человек думает: не лучше ли сберечь себе по крайней мере свое царство и притом не повреждать с ожесточением нравов ближних!

– Каких же это ближних, владыка?

– А духовенства.

– Помилуйте, они так сформированы, что мы ничего не можем повредить в них!

– Очень многое; увидав такую доходную статью, они станут еще более искушаться в доносах и во всем сами себя превзойдут.

– Ах, что мне до них!

– Да, это вам, светским людям, нипочем, но обстоятельные люди сана духовного так судить не могут. О нас ныне никто не печется, и потому наш долг самим предусматривать вредное и полезное и оберегать свое звание от искушений. Поверьте мне, что настоящий умный человек непременно вам это скажет. Пощадите, господа, бедное русское духовенство: дайте ему, если имеете милость, сенца и соломки, но сделайте милость, не давайте ему повода думать, что вы его на какой-нибудь случай боитесь. Пожалуйста, их к этому не поваживайте!

– Да позвольте, что мне до них дело, владыка?

– Как что? Разве вы не русская?

– Русская я, русская, – я это знаю, но потому-то я и

не хочу ни о ком думать, а только боюсь доносов.

– А вы их не бойтесь.

– Да как же их не бояться?

– Так, не бойтесь; разве вы не знаете, что кто холеры не боится, того сама холера боится?

– Но ведь, однако, нас с мужем по доносу развели.

– Ну и что же: какая от сего беда?

– Та, что детей наших признали незаконными.

– А хуже этого что?

– Что же еще хуже, владыка? Я уж и сама не помню, что я там читала: вы ведь сами изволили это утвердить.

– Утвердил, согласился – не мог не согласиться: решение по закону правильно.

– Ужасно, ужасно!

– Да то-то: что же такое?

– Там что-то еще «предать покаянию», «возбранить безнравственное сожителство»... Одно слово страшнее другого.

– Да, вы правы, страшные слова, страшные слова, а вы им... не того...

– «Не чего», владыка?

– *Не доверяйте.*

Дама поняла, что *это* и есть одно слово умного человека, и спросила:

– И это все?

Но архиерей вместо ответа опять сморщился, задвигал рукою, которая была у него под рясою, и проговорил:

– Да, уж извините... я должен уйти... опять поветрие.

И с этим он быстро убежал, даже не затворив за собою двери. Очевидно, что на этот раз он особенно спешил уединиться с «умным человеком».

Верно или нет поняла молодая дама *одно слово* своего епископа, но только она не возвратилась в дом свой, в деревню, а прикатила прямо в Петербург и потребовала от мужа подробного объяснения о ходе дела.

Тот ей рассказал.

– Ну так это все надо бросить, – решила дама.

– Как бросить? – удивился муж.

– А так, что теперь на нас донес дьячок, и за это мы отдадим половину состояния; потом на нас донесет дьякон, и мы должны будем отдать другую половину; а после донесет поп, и нам уже и давать будет нечего. И тогда нас разведут, и дети наши будут и без прав и без состояния. А потому надо сберечь им что-нибудь одно. Надо дорожить существенным: сбережем им состояние.

– А права?

– Они их получают по образованию.

– А мы сами?

– Что же о нас?

– Мы не будем более мужем и женою.

– Мы будем тем, чем мы есть друг для друга и для наших детей, к которым нам пора возвратиться.

– Но... меня все тревожит...

– Что тебя еще тревожит?

– Что о нас будут говорить? Тебя будут называть не женою моею, а...

Но дама не дала мужу договорить тяжелого слова: она закрыла его губы своею ручкою и с доброю ласкою проговорила:

– Мы будем этому *не доверять*.

Муж поцеловал ее руку, и оба они обняли друг друга и заплакали слезами, в которых смешались и горе и радость.

Так эта Ева без больших затруднений склонила своего Адама «*не доверять*» тому, что о них писали в губернских и столичных инстанциях, и оставила петербургского жадника без куша. Полцарства своего они никому не дали и ныне сидят на нем и преблагополучно господствуют. Их, разумеется, развели, и подписку с них взяли, и покаяние их, где надо, значилось. Все меры к прекращению их безнравственного сожительства были приняты, все страшные слова проговорены и прописаны, но разведенные супруги, держась сове-

та, который ими, может быть, неверно и понят, все-таки никаким этим страстям «не доверяли» и поныне не доверяют, и бог их на доброй русской земле терпит. Семья их и до сих пор сохраняет свой прежний счастливый состав и мирное благоденствие, а недоверие их имеет столько заразительного, что все, их знающие, продолжают их посещать по-старому и даже сами совершенно не доверяют, что тут что-либо кем-нибудь изменено. Словом, все, что где-то, когда-то было постановлено об этих супругах, общественным доверием не пользуется. Только дьячка, по доносу которого возникла эта поучительная история, преосвященный Поликарп убрал в другое место, прежде чем сам скончался от того самого поветрия, которое мешало его этюдам в сократической форме. Одно, что изменилось, это то, что с тех пор разведенная семья увеличилась несколькими детьми, но это никому не мешает: местный сельский батюшка, в своей деревенской простоте, приходит их и молитвовать и крестить. Его сельскому необразованию и в голову не приходит показать свою важность, как умел это сделать, например, расхваленный «образцовый священник» петербургской Знаменской церкви, Александр Тимофеевич Никольский. Этот «образцовый священник», как повествует изданная о нем похвальная книга, в похожих обстоятельствах упорно отказался помолить-

ся над незамужнею родильницею. (Имя этой злополучной петербургской дамы, занесенное в записи о. Никольского, *целиком пропечатано* его усердными друзьями.) Он не только отказался идти к родильнице на двукратное приглашение, но не сдался в этом ни консистории, ни своему епископу. Это ему и поставлено в заслугу, хотя в деле этой дамы или девицы не только преосвященный митрополит Исидор, но даже его консисторские чиновники, конечно, были несравненно снисходительнее и человеколюбивее о. Никольского. Ему, очевидно, помешала его слишком большая начитанность: «представитель нового типа» уперся в своем противлении потому, что знал сочинения Василия Кесарийского, где вычитал, будто «молитва назначена только для родильниц, состоящих в честном браке и в законе». Осуждать «представителя нового типа» не будем: известно, что «многие книги в неистовство прелагают» (Деян., XXVI, 24) и за то «мертвецы суд примут от написанных в книгах» (Апок., XX, 12).²⁶ Только, к счастью нашему, обыкновенные наши священники, «семинарские простецы», не имеющие широкой известности «представителей нового типа», мало знают отеческие писания,

²⁶ Драгоценнее всего то, что о. Никольский вел это дело, пока добился себе порицания; но зато он и даму подвел под «епитимию по 22 правилу Василия Великого»... (прим. Лескова).

в которых весьма легко запутаться. Зато они бывают проще и покладливее, что нам, при наших строгих на все правилах, весьма необходимо. Они у нас в своей священной простоте молятся над всякою родильницею, которая их позовет, и даже совсем как бы «не доверяют», что есть рождения незаконные. Может быть, это и большой грех, как настаивал на том о. Никольский, но надо надеяться, что бог простит им этот грех их неведения, а духовное начальство, как видно из книги об отце Никольском, давно этой ошибки духовенству в фальшь не ставит. А посему, читатель, если вы имеете неосторожность разделять довольно общее мнение, будто наши епископы по собственной охоте стремятся отяготить лежащие на нас бремена тяжкие и неудобноносимые, то поверьте, что это неосновательно. Поверьте, что, может быть, ни в какой другой русской среде, особенно в среде так называемых «особ», вы не встретите такого процента людей светлых и вполне доброжелательных, как среди епископов, которые, к сожалению, большинству известны только с сухой, официальной их стороны. Человек же, как известно, *наилучше познается в мелочах.*

Глава тринадцатая

Показав отношение одного архиерея к мирянам, находившимся в затруднении по случаю расторжения их брака, я теперь покажу другого архиерея и других мирян в еще более трудном и строгом моменте в брачном деле.

В некотором большом городе жил и теперь живет крупный чиновник, Н. А. Е—в, человек почтенных лет, но с юношеским сердцем. Н. А. Е—ва любили все, кто его знал, и не любить его было трудно, так как он чрезвычайно обязательный и милый добряк. У него только два порока, или две слабости, из коих одну можно ему поставить даже и в добродетель: он большой *хлопотун*. Всю свою жизнь он за кого-нибудь просил или за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволял из разного рода напастей, получая за это сам нередко более или менее чувствительные неприятности. Великое множество разнообразных несчастливцев считает его своим благодетелем, а он скорбит, что не может вызволить всех, потому что фонды его понизились и курс пал. Его беспрестанные за всех просьбы и поручки одним наскучили, а у других потеряли вес и значение. Лядащая мораль наших прожженных дней такой сердечной доуки не терпит и не переносит.

В городе этого чудака прозвали: «Мать Софья о всех сохнет», а в семейном кружке его зовут – «дядя Никс», и мы удержим для него это последнее имя в нашем рассказе.

Дядя Никс был женат первым браком очень рано, на девице очень хорошего семейства, из рода владельцев князей К. Он был как нельзя более счастлив в этом браке, – жена его разделяла общую к нему симпатию и уважение и нежно его любила, но счастье их было непродолжительно; молодая женщина умерла родами, оставив мужу маленького сиротку.

Вдовец очутился в грустном и трудном положении – один с маленьким ребенком, которого ни за что не хотел отдать из дома. Но бог о добрых людях печется: семья покойницы, принимая живое участие в осиротевшем добряке, прислала к нему пожить и заняться им и ребенком младшую сестру умершей – тоже недавно потерявшую мужа, молодую и очень симпатичную женщину, имевшую о ту пору двадцать два или двадцать три года и двух своих сироток, которых она тоже привезла к дяде Никсу.

Прекрасная вдовица обладала душою самую нежною и была религиозна. Она имела весьма разностороннее образование и довольно замечательный музыкальный талант, а дядя Никс, вдобавок ко всему о нем сказанному, был «поэт в душе» и любил музыку.

Вдовцы зажили дружно, душа в душу, дитя одного нашло в тетке нежность утраченной матери, а дети другой обрели в попечительности дяди Никса самого заботливого отца.

Сводная семья в самое короткое время совсем слилась воедино, как родная, и глубокий траур, который все носили в этом милом *живом доме*, скоро совсем утратил свой суровый характер. Его как бы забыли замечать.

Целую зиму все знакомые люди охотно хаживали посидеть вечеров у дяди Никса и охотно предпочитали его тихие вечерки всяким иным, более шумным собраниям. Но вдруг, под исход Великого поста, приятные беседы расстроились. Причиной тому было, что хозяйка стала часто прихварывать, и хотя болезнь никому не казалась опасною, но она как-то сверх меры озабочивала всегда милого и веселого дядю Никса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленности, не знали, как объяснить и чему приписать эту непостижимую и грустную перемену, но всепроницающие очи и всезнающий ум женщин скоро разгадали тайну и объяснили ее кратким определением: милый дядя Никс, по женским приметам, очень основательно утешился.

Утешительница была в положении, которое не могло оставаться без компрометирующего ее вдовство результата.

Все это происходило в то недавнее безалаберное, но живое время, когда мы, по выражению нынешних безнатурных благоразумцев, «*захлебывались либерализмом*», или, попросту сказать, бурлили, не зная сами, «что лъзя, и то, чего не можно».

В том из «больших центров», где невзначай произошел такой случай с утешительной дамою, это неведение ходило бесшабашными волнами и пронизало всю глубь нашего мелкого житейского моря, которое не хитро на глазомер взять от гребня его валов до самого дна. И на высоте и в преисподних творились разные чудеса. О том, как околесили маленькие люди, мы более или менее знаем, а что в этом же роде сотворено людьми высших положений, это еще едва-едва вылезает на свет. Во главе местной администрации нашего «центра» тогда стоял высокородовитый генерал, самой необъятной непосредственности. Его непосредственность была так велика, что он, например, мог судить о книгах, не читая их, и притом судить очень оригинально. Так, например, выдавая себя другом литературы, он говорил, что запретил бы только одну вышедшую тогда книгу, – именно: «Историю конституций» А. В. Лохвицкого, но и то запретил бы ее потому, что «все это уже старо и узко». В государственном устройстве сановник метил гораздо дальше, чем брала эта книга. В семье он желал видеть, чтобы де-

ти росли на свободе без всякого «воспитания», и достиг этого вполне в своих собственных детях, *таскающих* его имя где попало и с кем попало. Между множеством анекдотов его административной свистопляски были известны его слова, что он «не только терпеть не может низкопоклонников, но *даже любит, чтобы ему грубили*».

Находились люди, которые пробовали доставлять ему такое удовольствие, и, к чести его сказать, он иногда сносил это довольно терпеливо. Впрочем, после стал обижаться. Но еще более, чем грубиянов, он любил людей неподзаконных, то есть таких совершенных людей, которые любят становиться выше закона, будучи сами себе закон. В таких людях на Руси, как известно, недостатка нет, и сам высокий сановник тоже был из таких совершенных людей; но он заблуждался, думая, что таковы же и все остальные современные ему правители отдельных частей управления. Особенно же он ошибался в местном владыке, которого всегда очень хвалил, говоря:

– C'est un brave homme, у него нет ni foi, ni loi.²⁷

Что касается архиерейской foi, то этого высокого вопроса мы поверять не будем, но что до loi, то на этот счет генерал ошибался и получил за то распеканцию.

Узнав как-то от состоявших при его важной особе

²⁷ Это смелый человек; у него нет ни веры, ни закона (*франц.*).

сплетников по особым поручениям об анекдоте, случившемся при утешении дяди Никса его свояченицей, генерал сейчас же его пожалел, назвал *rauvge diable*²⁸ и возымел намерение уладить это дело.

– Что же такое, что она сестра его жены? Это не беда... Ведь та, первая ее сестра, уже умерла?

– Умерла, – отвечают.

– Ну, а умерла, так эта и должна занять ее место. Она кто такая урожденная?

– Такая-то.

– А сестра ее?

– То же самое.

– А он какой урожденный?

Ему назвали фамилию.

– Ну вот, видите: у них совсем и фамилии разные. Это можно. Что такое за важность!

– Конечно, – говорят, – но по-нашему, по-православному...

– Ах, полноте, пожалуйста, что это такое за православие и в чем оно состоит, я не знаю, кроме как «Господи помилуй», да «Тебе Господи с подай Господом». Но я знаю, что это можно, потому ведь та его жена уже умерла. Так или нет?

– Так.

– Ну, и можно. Если бы они обе живы были, – ну,

²⁸ Бедняк (франц.)

тогда, конечно... могли быть соображения, ну, а теперь... Скажите ему, чтобы он мне повiniлся и попросил помочь, – я очень рад и сам съезжу к нашему бонзе. Старик мне не откажет, – сейчас подмахнет разрешение.

Кто-то выразил было некоторое сомнение насчет такой податливости владыки, но правитель совсем обелил его преосвященство.

– Полноте, пожалуйста; я, – говорит, – вам ручаюсь, что он ни во что не верит и не имеет *ni foi, ni loi*.²⁹

Близкие последствия показали, что оба эти мнения о владыке были неверны.

Генерал взялся за дело не только с ловкостью, но и с отвагою настоящего военного человека.

Горячность его была такова, что он, при первом же свидании с дядей Никсом, сам расспросил его в шутиливом тоне: «как это вышло?» – и, узнав о справедливости смущавшего Никса анекдота, сразу же его ободрил.

– Вы не смущайтесь, – сказал он, – все это в наше время сущие пустяки. Теперь, когда, можно сказать, уже никто из порядочных людей не живет с своими женами, на эти дела смотрят иначе. А вы, если хотите еще держаться старины, чтобы надевать «узы Гименя», так можете свободно жениться вторым браком

²⁹ Ни стыда, ни совести (*франц.*).

на сестре вашей жены. Зачем и не побаловать даму: они ведь только егозят, будто стремятся к свободной любви, а в самом деле – все очень любят выходить замуж. Им это нравится: «закон принимать», – точно они все кухарки. Ну, да это ваше дело. Женитесь, я вас благословляю; и сегодня же съезжу к нашему бонзе и привезу вам от него разрешение. Он на этот счет бесподобен: что вам нужно, все разрешит.

Дядя Никс не отказал генералу в праве ходатайствовать, и тот поскакал с этим полномочием к владыке, но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой рассерженный, что сразу же начал перед дядею Никсом бранить «бесподобного» *толстоносым невежею, тупым бонзою и упрямым козлом.*

– Никогда себе этого не прощу, что взялся с ним об этом говорить, – пылил генерал. – Помилуйте, я всегда был уверен, что он прекрасный старик, что у него *ni foi, ni loi*, а он, выходит, прехитрый мужичонко! Он все от меня выслушал и улыбался, а потом вдруг давай ахать:

«Ай-ай-ай! – говорит, – какое ужасное дело! Беременная родная сестра его жены. Боже, какая безнравственность!»

Я хотел в шутку – говорю:

«Ну, полноте, ваше преосвященство: что за важность!»

А он скроил этакую благочестивую мину и отвечает:
«Как что за важность! Ай-ай-ай! Беременна... родная сестра его жены... и он хочет на ней жениться... на родной сестре своей жены... И вы, верховный сановник и правитель, изволите сообщать об этом мне, вашему епархиальному архиерею, и требуете, чтобы я вам дал на это разрешение! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Как вы могли за это взяться!»

Я говорю:

«Просят меня, ну и я прошу».

«Да помилуйте, мало ли о чем иногда просят! Нет, это ужасно, ужасно, ужасно! Я, разумеется, не удивляюсь вашей всем известной доброте, притом же, хотя вы и должны знать законы, но вы в военной службе служили и законов не изучали».

Я говорю:

«Черт их знает, – я их действительно не знаю!»

«Ну, – он говорит, – это вас, конечно, и извиняет, но тот, кто вас об этом просил, не извинителен. Удивляюсь, много удивляюсь, как он, зная законы, мог решиться позволить себе беспокоить особу столь высокого, как вы, звания такую незаконную просьбою! Статочно ли это, чтобы вы, в вашем положении, просили меня, архиерея, разрешить известному человеку жениться на родной сестре его покойной жены! Ай-ай-ай! Надо его пощунять, да, пощунять его, пощу-

нять. Пожалуйста, ко мне его пришлите, – пришлите: я его у себя сам погоняю. Ишь какой дерзкий, как он смел вас так подводить под такую глупость! Пришлите! Этого без штрафа оставить нельзя».

И, передав с точностью речь архиерея, сановник отмахнул по-военному рукою и добавил:

– Так вот, что теперь изволили заварить, то и извольте расхлебывать: отправляйтесь к нему и извольте объясняться с ним сами, а я более – пас. Да-с, я пас, пас, хоть бы у вас не одна свояченица, а полный дом женщин сделались беременными.

Переконфуженный дядя Никс попробовал было отговориться, что уже лучше, мол, все это бросить и не просить и не ехать объясняться, но сановник был не так настроен.

– А нет-с, покорно вас благодарю, – отвечал он, – нет-с, извините, ведь это я тут замешан, а я не хочу, чтобы это на мне и оставалось. Начали, так надо доделывать. Он теперь еще, пожалуй, пойдет рассказывать, что я приезжал по такому делу... Нет-с, вы начали – вы и кончайте: извольте ехать, да-с, и даже немедленно извольте ехать. Завтра именно извольте ехать и объясняйтесь с ним как знаете, только чтобы я тут был ни при чем. Он мне, может быть, сто раз повторил, чтобы вас прислать, и я вас посылаю, да, сейчас извольте ехать, сейчас!

– Завтра, – говорит дядя Никс.

– Нет-с, сейчас, сейчас, сию минуту! Я имею основание не хотеть, чтобы такое скандальное дело за мною числилось, и я вас прошу, я вам, наконец, *приказываю* от этого скандального дела меня очистить.

Дядя Никс насилу мог отпроситься отложить свою явку владыке до завтра. Он провел самую беспокойную ночь, скрывая от семейных причину своей тревоги, но открыл ее одному из близких друзей и все у него допытывался мнения, как тот думает: «съест или не съест его завтра разгневанный епископ?»

Но вопрошаемый знал об этом столько же, как вопрошавший, и рассуждал, что «пожалуй, съест, а пожалуй, и не съест».

Шутя, они даже по пальцам гадали, но ничего не угадали: раз выходит, что съест, а другой – не съест.

Не добьешься толку: ворожба тайных дум освященного лица не раскрывала. Так, ничего не зная, что будет, Дядя Никс на следующий день, в подходящий час, отправился с стесненным сердцем к его высокопреосвященству, от которого ожидал услышать невесть какие неприятные для себя напруги и строгости.

Архиерей не забыл о дяде Никсе и даже, вероятно, ждал его. По крайней мере, как только его ввели в зал и доложили о нем, владыка сам распахнул двери гостиной и приветливо заговорил:

– Прошу покорно, добро пожаловать, добро пожаловать. Сердечно рад вас видеть.

И, усадив дядю Никса на диван, он продолжал в том же мягком и приветливом тоне:

– Давно и очень давно желал с вами познакомиться. Много слышался о вас хорошего. Благо тому, о ком так говорят, как о вас, особенно у нас, где ни за ум, ни за доброту хвалить не любят.

Дядя Никс кланяется, а архиерей продолжает:

– Мало у нас, очень мало умных, и еще менее добрых и благонамеренных людей на общественной деятельности, а вы не такой, не такой... Да, вы не недоtroга.

Дядя Никс опять кланяется, а архиерей снова продолжает:

– Я давно интересовался вашими хлопотами о народном образовании. Могу сказать, не для вида одного занимаетесь, а действительную пользу делаете. За это вам за наш бедный темный народ поклон до земли. Но вы ведь, кроме того, и еще во многих комитетах.

– Точно так, ваше преосвященство.

– Усердны, очень усердны.

– Что делать, избирают.

– Да, да, где ни прочитаю, все вы сидите. Хвалю, очень хорошо, очень хорошо делают, что такого до-

ступного добру человека избирают. Ну и что же у вас, например, по такому-то комитету делается?

Дядя Никс опять отвечает. А владыка далее любопытствует: как идут дела в третьем, в пятом и в десятом из тех бесчисленных комитетов, при посредстве которых таким живым ключом кипит наша смелая и оригинальная административная деятельность.

Дядя Никс обстоятельно, по всем пунктам, удовлетворил любознательность владыки и успел ему показать в этом разговоре свою сведущность, искреннее добросердечие и приятный ум. Владыка с удовольствием его слушал и не раз принимался похвалить словом.

– Одобряю вас, весьма одобряю.

А потом и сам высказал несколько замечаний, поразивших гостя не только своею глубиною и меткостью, но и благородным свободомыслием, в котором, впрочем, у русских людей не бывает недостатка, пока они не видят необходимости согласовать свои слова с делом.

Дядя Никс, конечно, знал эту черту наших нравов и не обольщался ее проявлениями у владыки.

«Знаю я вас, – думал он, – широко ты, брат, расписываешь в том, что до тебя не касается, а небось, в чем дело к тебе клонит, так ты мне жениться не позволил, а про закон запел, да вот и о сю пору все виля-

ешь, а о моем деле ни слова не говоришь!»

А владыка как бы прочел эти мысли на его лице и говорит:

– Ну, приятно, очень мне приятно было с вами побеседовать, а теперь позвольте же мне, ваше превосходительство, спросить: что такое у вас дома случилось неловко по женской части?

– Да, владыка... извините, что я осмелился...

– Сшалили?

– Виноват, владыка.

– Да, вчера князь налетел с этим на меня, как с ковшом на брагу, – говорит, что будто вы его просили со мною на этот счет переговорить. Да ведь он на гулянках много празднословит, – я, признаюсь, ему не поверил.

– Нет, это точно так, владыка.

– Вы его просили?!

– Просил, владыка.

Владыка пожал плечами и закачал головою.

– Для чего же вы это сделали?

Дядя Никс молчал.

– Ведь вы, кажется, без шуток... имеете *серьезное* намерение жениться на сестре вашей покойной первой жены?

– Да, то есть... я имею это желание, я имею в этом нужду... потому что у меня есть сиротка, который в

этой женщине только мог бы найти вторую мать, но если это нельзя...

– Позвольте, позвольте, вы совершенно справедливо и совершенно основательно судите: действительно, кто же сироте по женской линии ближе тетки; но ведь такой брак у нас недозволителен.

– Я думал, что как у всех других, например у католиков и у лютеран, это не считается препятствием, так, может быть, теперь уже и у нас...

– Нет, опять позвольте... Во-первых: что такое значит это ваше «теперь»? В рассуждении духа времени – это так, но в рассуждении правил соборных постановлений это «теперь» и тогда и всегда будет одно и то же. Указываете, что у инославных это позволяется, но ведь мы с вами не инославные, а православные, и, родясь в лоне православной церкви, должны знать, что этого нельзя. Зачем же вы о такой невозможности просите?

– Извините великодушно, владыка; я вижу, что сделал непростительную глупость, и умоляю вас, не гневайтесь и простите.

– Простить – извольте, прощу, потому что просящему прощения и Бог прощает, а извинить – не извиню. Другому, менее вас умному человеку, я охотно бы это извинил, но вам не могу. Как, помилуйте, возможно, чтобы по такому деликатному делу прислать ко мне,

монаху, этакого бесстыжего петуха, который и без того везде орет во все горло, что у меня нет ни foī, ни роі (sic), и давно на грудь мне наступает, чтобы я закона не почитал. Помилуйте вы меня! Да к чему же мне это, и для чего нам, бедным людям, такая роскошь? Я ведь не в корпусе на Садовой улице учился, а Эврипида читал:

Nam si violandum est jus, regnandi gratia
Violandum est, aliis rebus pietatem colas³⁰

Нарушить закон «для того, чтобы царствовать», – это и умные люди делали, но нарушать его для того, чтобы один действительный штатский шалун с моего разрешения на своей свояченице женился, это уже никакого резона нет.

Владыка встал с места и подал руку дяде Никсу, но не выпустил ее, а тепло придержал своею другою рукою и добавил:

– Нет, напрасно вы, напрасно прямо сами ко мне не пожаловали: я бы вам разрешения, разумеется, все равно не дал, но зато прямо бы вам объяснил, что вам мое разрешение вовсе и не нужно.

– А без разрешения ничего нельзя сделать, влады-

³⁰ Ибо если есть у тебя право нарушать закон, нарушай его для того, чтобы царствовать, а в прочих случаях будь благочестен (лат.).

ка.

– Да и я бы так думал, но мне говорили, что именно *так только и можно*, как вы сказали: «без разрешения». Я не знаю, где это, но только не раз слышал, будто тут есть такие попы, что за пятьсот рублей вас не только на свояченице, а хоть на родной матери перевенчают. Нам ведь этого в точности не доведут, но вам-то, чай, скажут. Для чего же при таких тайностроителях в эти дела епископов путать, да еще через важных русских либералов это делать? Помилуйте... Сей род самый опасный и ничим же изымается; с ними надо очень, очень опасливо: они сами подзадорят да сами же первые и выдадут хуже школьников. До свидания. Поеду вашему покровителю визит отдать.

– Сделайте милость, владыка, посетите его: он рад будет.

– Знаю... Чудак! а то подумает, что я на него сержусь, и «предупреждать» пойдет повсюду. Свистун, а мужик добрый. Будьте покойны; я сейчас ему либерального елея на самый главный винтик капну и до дна его смазлю. Бог с ним. Таких разболтаев тоже надо беречь. Он еще, может, пригодится вам на всякий случай. Храни Бог доноса, тогда умом уж ничего не возьмешь, а этакой цыцарь как раз «цыц» и выхлопочет... Прощайте, и желаю вам счастливого успеха.

Гость тронулся, но хозяин его опять придержал и

добавил:

– А говорят, если здесь неустойка, то к единоверам в Молдавию хорошо съездить: там будто, говорят, никаких затруднений не знают – за деньги эти православные молахи и валдахи не только на матери, а даже и на отце родном женят. Невероятно, а впрочем, чего на свете не бывает! Прощайте!

С тем дядя Никс и вышел от владыки, а через неделю после этого разговора он уже был обвенчан со своею свояченицею, и притом даже несколько меньше, чем за пятьсот рублей, и в Молдавию не ездил.

Читателя может поинтересовать: как все это сделалось и как это вообще делается? А потому я в конце моих очерков расскажу, что́ мне на этот счет известно, теперь же еще два последние портрета.

Глава четырнадцатая

В Москве за несомненное рассказывают следующий характерный случай, имевший место с одним полицейским генералом у покойного митрополита Филарета Дроздова.

Генерал, обязанный блюсти благочиние столицы, не всегда хорошо знал пределы своей власти и, случалось, вмешивался куда не следовало. На это иногда жаловались или пробовали дать ему сдачи собственными средствами, но, к общему огорчению, все это выходило малоуспешно.

Генерал же от ряда таких беспрестанных удач делался смелее, и без оглядки «забывая задняя – на передняя простирался», и в таком неуклонном стремлении наскочил на митрополита Филарета.

Случай этот возник с следующего повода. Довелось беспокойному генералу быть на чьих-то похоронах или по другому какому случаю заглянуть в одну из приходских церквей столицы, где его превосходительство не ждали и служили попросту, «как для христиан», то есть пели кое-как «олилюй и Господи помилюй». Служение генералу страшно не понравилось – особенно со стороны козлогласующих певцов.

Разумеется, все это могло быть совершенно осно-

вательно, потому что в приходских церквях Москвы служение часто бывает поистине ужасное, – что и отталкивает в значительной мере раскольников, любящих уставное пение и чтение истовое. Генерал счел, что все это надо исправить, и обозначил в самом вежливом письме к митрополиту Филарету, которое и было послано по адресу без лишнего раздумья. Отправляя такое послание, генерал, конечно, был как нельзя более доволен собою, потому что делал владыке сообщение, которое того не могло не интересовать, так как касалось самых живых вопросов церковного благочиния. Генерал, знавший, быть может, очень многое в петербургском свете, – откуда недавно пришел, – не знал вовсе неприступной щекотливости того лица, к которому он обращался, и за то поплатился очень досадительным уроком.

Митрополит Филарет, получив генеральское письмо, возымел себя совсем не так, как предполагал и неверно рассчитывал автор. Указание на то, что где-то в московской церкви не благочинно служат и не хорошо поют, обидело владыку; он усмотрел в этом дерзость. Такие вещи он если и терпел, скрепя сердце, от Андрея Николаевича Муравьева, то это была милость без образца, и затем он уже никак не хотел этого терпеть ни от кого другого – тем более от человека военного и занимающего полицейский пост. В его глазах

это имело такой вид, как будто полиция начинает вмешиваться в церковное дело, для которого в Москве не упразднена еще своя настоящая власть, сосредоточенная в крепко ее державших руках митрополита Филарета.

И вот владыка, отложив письмо на угол стола, переслушал все другие поданные ему в этот день бумаги, – а потом, отпуская секретаря, указал на генеральское послание и сказал своим бесстрастным и беззвучным голосом:

– Это положить в конверт... и надписать генерал-губернатору.

Секретарь спросил, как отправить, – то есть при какого содержания письме или бумаге? Но митрополит был недоволен этим расспросом и отвечал:

– Без всякой бумаги, послать просто.

Так и было послано.

Дело родилось и назревало в тиши, но вдруг и забурлило.

Генерал-губернатор (который именно, я этого не знаю),³¹ вскрыв поданный ему конверт и достав отту-

³¹ Во всяком случае, это не был Закревский, которому представлялось, что митрополит Филарет сочинил и велел читать в церквях молитву *об избавлении Москвы от лютого положения*, то есть от управления Закревского. Об этом было официальное дознание, память о котором уберет будущему историку митрополит Исидор. См список рукописей, пожертвованных высокопреосвященным Исидором Петербургской

да генеральское письмо к митрополиту, стал искать в пакете какого-нибудь препроводительного писания от самого владыки. По всему он имел основание предполагать, что такое писание непременно есть, но его, однако, не было. Тогда родилось другое, тоже весьма естественное в сем случае предположение, что препроводительное писание, по недосмотру или иной какой оплошности секретаря, не положено в конверт и осталось где-нибудь в митрополичьей канцелярии.

Поэтому генерал-губернатор пометил на письме карандашом: «справиться у секретаря, где бумага, при которой прислано».

Справка была сделана немедленно, и притом не письменная, а личная, через посредство одного из чиновников генерал-губернаторской канцелярии. Но тот, побывав с пакетом у митрополичьего секретаря, привез назад этот пакет без всякого восполнения и притом с странным ответом, что никакого препроводительного письма от митрополита не будет.

Опять доложили генерал-губернатору, и опять отряжен старший по чину и званию посол с посольством, имевшим прямою целью узнать: «что его высокопреосвященству угодно?» Но это новое посольство было не удачнее первого: не легко секретарь поддался просьбе спросить владыку: «что ему угодно?» че-

рез посылку упомянутого письма, да не привело ни к чему и вопрошание.

Филарет посмотрел на секретаря долгим, укоризненным взглядом и тихо молвил:

– Мне ничего не угодно.

Он был всеблажен и вседоволен, а в гражданской канцелярии генерал-губернатора от всего этого смущение только возрастало. По чиновничьему скудоверию, там находили невозможным удовлетвориться таким безмятежным ответом и считали неотразимо нужным добиться: для чего вседовольный владыка прислал это письмо и чего ему хочется? Делая такие и иные соображения, нашли наконец, что удивительное событие это всех более обязан разъяснить не кто иной, как сам полицейский генерал, который заварил всю эту кашу, бог знает зачем и для чьего удовольствия.

И, как это часто водится, прежде чем хваткий генерал успел показаться и дать какие-нибудь разъяснения об этом беспокойном обстоятельстве, про самое обстоятельство уже меньше говорили, чем про его вздорливый нрав и его зливість, с которою он беспрестанно надоедает то одному, то другому, то пятому и десятому. И всем уже становилось радостно и мило, что вот-таки он нарвался. И с чем пристал? «Не хорошо поют!» Да ты регент, что ли, – тебе какое дело?

Не нравится – выйди, не слушай, ступай к цыганам, там хорошо поют. А чего лезть, зачем надоедать?.. Ведь это не какой-нибудь простой митрополит, а Филарет; он тайны знает; его боятся... Его только тронь, так и сам не обрадуешься. Вот и наскочил, – так тебе, сорванцу, и надо! Радовались не только люди русские, которым, по справедливому замечанию Пушкина, «злорадство свойственно», но даже некий немецкий чиновник, имевший за свою солидность особый вес у начальства. Он ведал это дело, и он же сказал о нем: «нашла коза на камень», и с этою немножко измененною русскою пословицею сделал такое обобщение, что быть за все в разделке самому беспокойному полицейскому генералу.

Так и случилось.

Во утрий день, когда полицейский генерал стал в урочный час по обычаю перед генерал-губернатором, сей последний сразу сморщился и заговорил скороговоркою и в недовольном тоне:

– Очень рад вас видеть... Вчера, почти только что вы от меня уехали, я получил конверт от митрополита. Вот он: возьмите его, пожалуйста; он здесь прислал ко мне ваше письмо, и кто его знает: зачем он его прислал? Я посылал узнавать, но ничего не узнали... Столкновение с ним всегда чрезвычайно неприятно... Кончите это, пожалуйста, как-нибудь сами.

Генерал сконфузился, и даже не на шутку, но подбодрился и, чтобы выдержать спокойный тон, спрашивает:

– Что же... мне самому прикажете съездить?

– Как хотите... Да впрочем, я не знаю, как же иначе, лучше съездите.

– Хорошо-с, я сейчас съезжу и сейчас же заеду вам сказать, если угодно.

– Пожалуйста... Как-нибудь...

– Да ведь это такие пустяки!

– Ну, однако... все-таки... пожалуйста, кончите и заезжайте.

Генерал поехал, но неудачно: вместо того чтобы получить возможность успокоить начальника, он заехал с самым коротким, но неприятным ответом, что митрополит его *не принял*.

– Ну вот видите!

– Да он, говорят, действительно болен.

– Положим, а все-таки неприятно. Вы уже сделайте милость... постерегите... когда он выздоровеет.

– Непременно-с, непременно.

– Вы там... келейника...

– Да... я уже все сделал и *просил*.

(Вот он уже начал *просить*!)

– Но и сами... наведайтесь, когда он может.

– Я заеду, заеду.

Он два раза повторил свое «заеду», а довелось ему заехать несколько раз, потому что владыка все недомогал, а генерал-губернатор скучал, что это еще не разъяснено и не кончено.

Генералу это так надоело, что он говорил, будто уже «готов хоть пять молебнов у Иверской отпеть, лишь бы отвязаться от этого письма и от всей этой истории». И бог, который, по изъяснению Иоанна Златоустого, «не только деяния приемлет, но и намерения целует», – внял нужде утесненного этими событиями генерала и воздвиг владыку с одра болезни. Под вечер одного дня дали генералу с подворья весть, что владыке лучше, а на другой день, едва его превосходительство собрался на Самотек, как через подлежащих чинов полиции пришло дополнительное известие, что Филарет нынче утром раненько совсем выехал на лето за город к Сергию и затем в Новый Иерусалим.

Крепкий, непокладистый человек был генерал, но это уже и его вымотало. Теперь хоть и не говори ни слова, а отправляйся туда же вслед за ним к Сергию и в Новый Иерусалим. А примет ли еще он там? – это опять бог весть. Скажут: устал с дороги, отдохнуть нужно, беспокоить не смеем; или говееет, к причастию готовится; или с отцом наместником заняты... Да вообще конца нет претекстам. И это такому-то человеку,

который и сам кипит и любит, чтобы вокруг него все кипело и прыгало!..

Черт знает, что за глупое положение, и все из-за чистейших пустяков, и притом в правде, потому что служение он видел нехорошее, пение безобразное и хотел обратить на это внимание, так как это у него в городе.

Генерал давно уже был не рад, что он все это поднял: крепкий и крупный во всех своих неразборчивых поступках, он ослабел и обмелел от этой святительской гонки, которая так не так, еще пока и до объяснения не дошла, а уже внушала ему необходимость известной разборчивости. Даже ухарская бодрость его подалась и спесь попустилась до того, что он стал панибратственно спрашивать людей малых: как они думают, что лучше – немедленно ли ему ехать вслед за владыкой или подождать – пусть он отдохнет, начнет служить, и тогда... прямо к обедне, да от обедни под благословение, – подделаться на чашку чаю и объясниться.

Как мышь могла оказать великую услугу льву, так и тут случилось нечто малопозволительное: у мелкого человека нашлось ума и сообразительности больше, чем у крупного.

Малый советник сказал, что прямо от обедни генералу к митрополиту являться нехорошо, раз – потому,

что его высокопреосвященство в такую пору бывает уставши, а во-вторых, что и дело-то требует свидания тихого и переговора с глаза на глаз, «чтобы если и колкость какую выслушать, то по крайней мере не при публике».

Это было первое упомянутие о колкости, но оно было принято без удивления и без спора. Очевидно, все иначе и думать не хотели, что без колкости дело обойтись не может. Вопрос мог быть только в том: какая?

– У него ведь это все применяется, – говорили советники, – что простецу, что ученому, что духовному, а что военному человеку... Особенно ученым строго; он вон иерея Беллюстина вызвал, посмотрел на него, да опять пешком в Калязин прогнал.

– Господи!.. это черт знает что такое... И что за мысль попа пешком гонять!

– А-а, он ученый, статьи пишет.

– Да хоть бы и какие угодно статьи писал, все же ведь он не скороход или не пехотинец.

– А Голубинского еще хуже: прямо по руке ударил: он к ученым лют.

– Ну а к военным каков, а?

Собеседники плечами пожали и говорят:

– Про военных не знаем; военных, пожалуй, не смеет.

– Ведь не может же он меня заставить идти от Сер-

гия пешком за покаяние – а? что? Я его не послушаю: сяду, да и уеду... что?

– Да, конечно нет: не смеет.

– Еще бы! пускай попов гоняет, а я не поп.

На самом же деле все это приводило генерала в большую нервность, и он, волнуясь, кипятился и попеременно призывал то бога, то черта, не зная, к кому плотнее пристать.

– Господи, что такое!.. черт бы все это драл... С коронованной особой, кажется, легче бы объясниться!

Но малый советник, до беседы с которым генерал не напрасно унизился, вывел его на хороший путь: он присоветовал генералу «сочинить» к владыке письмо и «поискательнее» просить его высокопреосвященство дозволить представиться по нужному делу, «когда он прикажет». И при всех этих варварских фразах о сочинении, искательности и приказании особенно настаивал, чтобы последняя фраза была употреблена в точности.

– А то иначе, – говорит, – он прошепчет секретарю: «напиши, я готов выслушать», а когда и где – опять не доберетесь. Нет, уж лучше пусть «прикажет».

Генерал, в досаде, уже ни за что не стоял и готов был испросить себе и «приказание», но только «сочинять» ему не хотелось.

– Сделайте милость, – говорит, – черт бы все это

побрал... Господи! напишите, пожалуйста, как это по-вашему нужно, я все подпишу.

– Нет, – говорят, – тут нельзя «подписать», а надо своею рукою написать, или переписать, да еще почище – хорошенько.

– Да у меня, – говорит, – почерк скверный.

– Надо постараться.

– Ах ты господи!.. ну да черт с ними, со всеми этими делами; сочините мне, пожалуйста, я перепишу.

И он сдержал свое слово – переписал. Он взял черновое домой и хотя вначале сильно его критиковал и называл «хамским», но дома переписал его сполна и очень хорошо: буквы были все аккуратно дописаны, строчки прямые, – очевидно, выведены по транспаранту, а внизу подпись со всяким почтением, покорною преданностью, поручением себя отеческому вниманию и архипастырским молитвам и просьбою о его владычьем благословении. Словом, сделано как подобает.

Письмо, в видах наибольшей аттенции, а может быть, и ради вернейшего получения скорого ответа, послано не по почте, а с нарочным, из сорока тысяч курьеров, готовых скакать во все стороны по манию каждого начальника в России.

Ждут ответа. Ждет сам генерал, поминая то бога, то черта. Ждут и его подчиненные, которым казалось,

что он им уже «протоптал голову вдоволь».

Здесь среди этих форменных людей, в которых, несмотря на всю строгость их служебного уряда, все-таки билось своим боем настоящее «истинно русское сердце», шли только тишком сметки на свойском жаргоне: «как тот нашего: вздрючит, или взъефантулит, или пришпандорит?»

Слова эти, имеющие неясное значение для профанов, – для посвященных людей содержат не только определительную точность и полноту, но и удивительно широкий масштаб. Самые разнообразные начальственные взыскания, начиная от «окрика» и «головомойки» и оканчивая не практикуемыми ныне «изутием сапога» и «выволочки», – все они, несмотря на бесконечную разницу оттенков и нюансов, опытными людьми прямо зачисляются к соответственной категории, и что составляет не более как «вздрючку», то уже не занесут к «взъефантулке» или «пришпандорке». Это нигде не писано законом, но преданием блюдется до такой степени чинно и бесспорно, что когда с упразднением «выволочки» и «изутия» вышел в обычай более сообразный с мягкостью века «выгон на ять – голубей гонять», то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжелой категории, то есть к «взъефантулке». Владыка, однако, не мог же иметь такого влияния, чтобы «сверз-

нуть» генерала или сделать ему другую какую-нибудь неприятность, а он просто его не более как «вздрючит», но, конечно, в лучшем виде.

Посол возвратился на другие сутки. Ему довелось переночевать у Сергия, но зато он привез ясный ответ на словах, что его высокопреосвященство может принять генерала.

– Когда же?

– Когда угодно.

– Я поеду завтра.

Так и решено было ехать завтра.

Генерала проводили, и когда поезд отъехал, то, смеясь в кулак, проговорили:

– Напрасно ты, брат, перемены белья с собой не захватил.

Между тем, ко всеобщему удивлению, генерал возвратился в Москву раньше вечера и был очень жив, скор и весел. Он тотчас же поспешил успокоить генерал-губернатора, что они с митрополитом объяснились, и дело это теперь кончено.

– Я доказал ему, что я прав, и он согласился и просил вам кланяться.

Тот был доволен, но подчиненные, которым никак не хотелось такого окончания, не верили, чтобы дело обошлось без вздрючки. Краткое сказание: «я доказал ему, что я прав, и он согласился», малодушным

людям казалось как-то неподходящим. Выходило это как-то очень уж кратко и не имело на себе, так сказать, никакого облика живой правды. Как он это доказывал, что поп дурно служил и дьячки нехорошо пели? Разве попа и дьячков туда тоже выписывали? Нет, этого не было и не могло быть, во-первых, потому, что это дало бы делу такое положение, что митрополит все-таки придавал какое-нибудь значение письму генерала, а во-вторых, этого не могло быть просто потому, что владыка не знал, когда прискачет к нему генерал с своим объяснением. Не мог же он содержать при себе упомянутого попа и дьячков, про всякий случай, по вся дни. Да и все это было бы совсем не по-филаретовски. Нет, младшие люди имели крепкое подозрение, что генерал митрополиту ничего не доказывал, потому что ему еще никто никогда не доказал ничего такого, что он сам не хотел считать доказанным, а просто генерал вытерпел у него неприятную минуту, но как ею кончается вся эта долгая возня, то он и рад, и опять прыгает и носится. А доказать митрополиту нельзя, — нельзя потому, что он такие дарования и способы имеет — сразу самого доказательственного человека взять и отсадить от его доказательств. И отсадить в самый дальний угол, где тот даже и сам себя не сразу узнает.

И вот эти-то приемы его очень интересны, как он

это выведет так, что прав – неправ, а сказать нечего. И все это непременно было с генералом, но как же это было? как владыка его вздрючил и как тот извивался? Это положили узнать. А взялся за это некто близкий по своим связям с какою-то «профессорией», а та профессория знала еще кого-то, через которого доходили прямо до самого близкого человека. И, когда весь этот порядок был ловко и ухищренно пройден, то результат превзошел все ожидания.

Вот верное сказание о том, как объяснялся генерал с митрополитом.

Владыка, зазвав гостя в отдаленные Палестины, был внимателен к его приезду и не заставил его ожидать. Пожаловал генерал, доложили митрополиту, он и вышел: по обычаю своему не велик, нарочито худ, а из глаз, яко мнилось, «семь умов светит».

Разговор у них вышел недолгий и, все объяснение, до которого генерал достиг с таким досадительным трудом, свертелось вкратце.

– Чем позволите служить? – начал шепотом владыка.

Генерал отвечал обстоятельно.

– Так и так, ваше преосвященство, я был случайно месяц тому назад в такой-то церкви и слышал служение... оно шло очень дурно, и даже, смею сказать, соблазнительно, особенно пение... даже совсем не пра-

вославное. Я думал сделать вам угодное – довести об этом до вашего сведения, и написал вам письмо.

– Помню.

– Вы изволили отослать это письмо для чего-то к генерал-губернатору, но ничего не изволили сказать, что вам угодно, и мы в затруднении.

– О чем?

– Насчет этого письма, оно здесь со мною.

Генерал пустил палец за борт и вынул оттуда свое письмо. Митрополит посмотрел на него и сказал:

– Позвольте!

Тот подал.

Филарет одним глазом перечитывал письмо, как будто он забыл его содержание или только теперь хотел его усвоить, и, наконец, проговорил вслух следующие слова из этого письма:

– «Пение совершенно не православное».

– Уверяю вас, ваше высокопреосвященство.

– А вы знаете православное пение?

– Как же, владыка.

– Запойте же мне на восьмой глас: «Господи, воззвах к тебе».

Генерал смешался.

– То есть... ваше высокопреосвященство... Это чтобы я запел.

– Ну да... на восьмой глас.

– Я петь не умею.

– Не умеете; да вы, может быть, еще и гласов не знаете?

– Да – я и гласов не знаю.

Владыка поднял голову и проговорил:

– А тоже мнения свои о православии подаете! Вот вам ваше письмо и прошу кланяться от меня генерал-губернатору.

С этим он слегка поклонился и вышел, а генерал, опять спрятав свое историческое письмо, поехал в Москву, и притом в очень хорошем расположении духа: так ли, не так ли, противная докука с этим письмом все-таки кончилась, а мысль заставить его, в его блестящем мундире, петь в митрополичьей зале на восьмой глас «Господи, возвах к тебе, услыши мя» казалась ему до такой степени оригинальной и смешной, что он отворачивался к окну вагона и от души смеялся, представляя себе в уме, что бы это было, если бы эту уморительную штуку узнали друзья, знакомые и особенно дамы? Это очень легко могло дойти до Петербурга, а там какой-нибудь анекдотист расскажет ради чьего-нибудь развлечения и шутя сделает тебя гороховым шутком восьмого гласа.

И он не раз говорил «спасибо» митрополиту за то, что при этом хоть никого не было.

Но, однако, как «нет тайны, которая не сделалась

бы явною», то нерушимое слово Писания и здесь оправдалось. Вскоре же все в Москве могли видеть независтную гравюрку, которая изображала следующее: стоит хиленький старичок в колпачке, а перед ним служит на задних лапах огромнейший пудель и держит на себя в зубах хлыст. А старец ему говорит:

«Служи (собачья кличка), но на мой двор не смей лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голос».

Такова или сей подобна была подпись под картинкою, которая вначале показалась многим совсем неостроумною и даже бессмысленною; а потом, когда развели, в чем тут соль, тогда уже немногие экземпляры картинки сделались в большой ценности.

Когда именно, в каких городах и при каких правительственных лицах имело место это происшествие, — не знаю. Филарет Дроздов на московской кафедре пропустил мимо себя не одного генерал-губернатора, а полицейских генералов еще более, но сказание это надо считать несомненно верным, потому что о нем мне и другим приходилось слышать от нескольких основательных людей, да и картинка тоже даром появиться не могла.

Глава пятнадцатая

Был кавалерийский генерал Яшвиль. Он умер после окончания последней турецкой войны, которую тоже делал. Это был замечательный человек по складу ума, складу привычек и складу фигуры; он же обладал и красноречием, притом таким, какому в наше стереотипное время нет подобного. Он был человек большой, сутуловатый, нескладный и неопрятный. Лицо имел самое некрасивое, монгольского типа, хотя происходил из татар. По службе считался хорошим генералом и шел в повышения, но в отношении образованности был очень своеобразен: литература для него не существовала, светских людей он терпеть не мог и на этом основании избегал даже родственников по жениной линии. Особенно же не любил балов и собраний, на которых притом и не умел себя вести. Рассказывали случай, что однажды, подойдя к вазам с вареньем, он преспокойно выбрал себе пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же положил ее себе в рот и отошел от стола, не обращая ни на кого внимания. Быть с ним в обществе одни считали мучением, другие же хотя и переносили его, но более ради того, чтобы за ним подмечать его «деликатности». Но в своем в военном деле он был молодец, хотя тоже

все с экивоками. Подчиненные его ни любили, ни не любили, потому что сближение с ним было невозможно, а солдаты его звали «татаринном». Но мы имеем дело только до его красноречия.

Военное красноречие генерала Яшвиля, как выше сказано, было оригинально и пользовалось широкою и вполне заслуженною известностью. Оно и в самом деле, как сейчас убедится читатель, имело очень редкие достоинства. У меня есть один образец речей этого военного оратора – притом образец наилучший, ибо то, что я передам, было сказано при обстоятельствах, особенно возбуждавших дух и талант генерала Яшвиля, а он хорошо говорил только тогда, когда бывал потрясен или чем-нибудь взволнован.

Генерал Яшвиль занимал очень видное место в армии. У него было много подчиненных немелкого чина, и особенно один такой был в числе полковых командиров, некто Т., человек с большими светскими связями, что Яшвиля к таким людям не располагало.

Неизвестно, каких он любил, но таких положительно не любил.

Была весна. – Хорошее время года, а тем больше на юге. Генерал предпринял служебное путешествие с целью осмотреть свои «части». Он ехал запросто и с одним адъютантом.

Приехали в город, где стоял полк Т., и в тот же день

была назначена «выводка».

Дело происходило, разумеется, на открытом месте, недалеко за конюшнями. Офицеры стоят в отдалении – на обзоровательном пункте только трое: генерал Яшвиль, у правого его плеча – его адъютант, а слева, рядом с ним, полковой командир Т.

Выводят первый эскадрон: лошади очень худы.

Яшвиль только подвигал губами и посмотрел через плечо на адъютанта.

Тот приложил почтительно руку к фуражке и общей миной и легким движением плеч отвечал, что «видит и понимает».

Выводят второй эскадрон – еще хуже.

Генерал опять полковому командиру – ни слова, но опять оглядывается на адъютанта и на этот раз уже не довольствуется мимикой, а говорит:

– Одры!

Адъютант приложился в знак согласия.

Полковник, разумеется, как на иголках, и когда вывели третий эскадрон, где лошади были еще худее, он не выдержал, приложился и говорит:

– Это удивительно, ваше сиятельство... никак их нельзя здесь ввести в тело...

Яшвиль молчал.

– Я уже, – продолжал полковник, – пробовал их кормить и сечкою и даже... морковь...

При слове «морковь», в смысле наилучшего или целебного корма для лошадей, генералу показалось, что это идет как будто из Вольного экономического общества или другого какого-нибудь подобного оскорбительного учреждения, и генерал долее не выдержал. Его тяжелый, но своеобразный юмор и красноречие начали действовать – он обернулся снова к командиру и сказал:

– Морковь... это так... А я вам еще вот что, полковник, посоветую: попробуйте-ка вы их овсом покормить.

И с этим он повернулся и ушел, не желая смотреть остальных «одров», но назавтра утром назначил смотреть езду. Лег он недовольный и встал недовольный, а при езде пошли такие же неудовлетворительности. Генерал и закипел и пошел все переезжать с места на место – что у него выражало самую большую гневность, которой надо было вылиться в каком-нибудь соответственном поступке: изругать кого, за пуговицу подергать или же пустить такой цвет красноречия, который забыть нельзя будет.

Дела пошли так, что командир сам подал ему повод к последнему, и живой дар генерала начал действовать.

Как вчера полковник пустил себе на выручку морковь, так теперь он хотел найти оправдание в молодом

сти эскадронных командиров. Генералу всякого повода к речам было довольно, а этого даже с излишком. Услышав, что вся беда в том, что молоды офицеры, – он отскочил на своей лошади в сторону, сделал свою обыкновенную в гневном времени гримасу и страшным громовым голосом, долетавшим при расстановках до последнего фурштата, заорал:

– Вздор говорить изволите!.. Что это еще за манера друг на друга ссылатся-я-я!.. Полковой командир должен быть за все в ответе-е-е! Вы развраты этикие затевае-те-е-е-е!.. По-о-лко-вой командир на эскадронных!.. А эскадронные станут на взводных. А... взво-одные на вахмистров, а вахмистры на солдат... А солдат-ты на господа бога!.. А господь бог скажет: «Врете вы, мерзавцы, – я вам не конюх, чтобы ваших лошадей выезжать: сами выезжайте!»

Это было начало и конец краткой, но, как мне кажется, очень энергической речи. Генерал уехал, а офицеры долго еще были в недоумении: как же это возможно, до чего стал доходить в своем гневе Яшвиль? Особенно этим был поражен один молодой офицер из немцев, у которого хранились добрые задатки религиозных чувств. Ему казалось, что после такой выходки Яшвиля он, как христианин, не может более оставаться на службе под его начальством.

Он думал об этом всю ночь и утром, чисто одев-

шись, поехал потихоньку к архиерею, чтобы ему, как самому просвещенному духовному лицу в городе, рассказать все о вчерашней речи и просить его мнения об этом поступке.

Архиерей принял и терпеливо выслушал корнета, но с особенным вниманием слушал воспроизведение офицером на память генеральской речи. И по мере того как офицер, передавая генеральские слова, все возвышал голос и дошел до «господа бога», то архиерей, быстро встав, взял офицера за обе руки и проговорил:

– Видите, как прекрасно! И как после этого не сожалеть, что духовное ораторство у нас не так свободно, как военное! Почему же мы не можем говорить так вразумительно? Отчего бы на текст «просящему дай» так же кратко не сказать слушателям: «Не говори, алчная душа, что „Бог подаст“. Бог тебе не ключник и не ларешник, а сам подавай...» Поверьте, это многим было бы более понятно, чем риторическое пустословие, которого никто и слушать не хочет.

Глава шестнадцатая

К сказанному не излишним будет прибавить о том, как иные из наших владык внимательны к политике, литературе, новым открытиям и проч. Хороший материал для этого мы имеем в «Списке рукописей, пожертвованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в библиотеку С.-Петербургской духовной академии». Об этом митрополичьем даре было довольно говорено газетами в свое время, – причем было объяснено, что подаренные рукописи не могут быть предметом исследования и критики по жизни их жертвователя. Но и самое содержание рукописей, даже по заглавиям, оставалось до сих пор неизвестным, хотя это, с одной стороны, очень интересно, а с другой – нимало не нарушает условий жертвователя, ибо не может быть почитаемо за разработку. Поэтому, встретив редкий список (отлиотографированный только в числе пятидесяти экземпляров), я не захотел расстаться с ним, не сделав из него небольших выписок, которые, мне кажется, должны заинтересовать любителей русской давней и недавней старины. Должны они быть любопытны также и для таких людей, которым небезынтересно само лицо дарителя.

Вот из чего, судя по списку, состоит, между про-

чим, дар митрополита Исидора Петербургской духовной академии:

Уроки профессора академии архимандрита Иннокентия (архиепископа херсонского) по общему богословию – 293 л.

Его же, уроки по догматическому богословию – 188 л.

Его же, уроки по практическому богословию – 327 л.

Его же, учение о таинствах церкви – 139 л. (Возможно думать, что это те самые знаменитые лекции, которыми когда-то хвалились слушатели Иннокентия. Их ждали видеть в собрании сочинений этого автора, но этому что-то помешало.)

Сорок шесть писем князя Голицына к архимандриту Фотию и двенадцать писем к графине А. А. Орловой-Чесменской. (Материал никогда не ослабевающего интереса.)

Донесение Нила, архиепископа ярославского, в св. синод о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнорского, с просьбою совета по этому случаю и разрешения крестного хода и канонизации службы святому. (Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному происшествию с поднимающейся крышкою, так и по отношению к этому делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила – автора исследования «О буддизме».)

Краткое изложение хранящихся в Белогородском монастыре подлинных записок о чудотворениях Иоасафа. (По народной молве, усопший Иоасаф Горленко есть тот очередной святой, мощи которого должны быть открыты первыми после мощей преподобного Тихона Задонского. Отсюда понятно, какой интерес для церкви должно сосредоточивать в себе это «изложение».)

Донесение Христофора, высокопреосвященного вологодского, о необыкновенном приключении с крестьянкою-девицею Агафьею, – летаргическом сне, принятом за чудо.

Ответное письмо протоиерея Иосифа Васильева на вопросы, предложенные ему графом Павлом Дмитриевичем Н. по поводу присоединения аббата Гетте. (Снова интереснейшее обстоятельство, в оценке которого до сих пор нет чего-то самого важного.)

Рассказ дедушки Алексея Васильевича Первого, почти современника св. Тихона, о некоторых частных фактах из жизни св. Тихона.

Оправдательное письмо М. П. Погодина к министру народного просвещения по поводу признания его статьи во 2 № газеты «Парус» неблагонамеренною и прекращения издания.

Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови.

Мнение председателя цензурного управления о распространении у нас брошюры о непорочном зачатии девы Марии (1830 года).

Список сочинениям богословского и отчасти политического содержания, привезенным из Варшавы в 1833 и 1834 годах.

Приказ новороссийского генерал-губернатора жителям, называемым духоборцами, о возвращении в лоно православной церкви или о переселении в другие места жительства.

Судебный допрос некоторых из сектантов «Общей» секты (из молокан).

О сектаторе Лукьяне Петрове – писано собственноручно митрополитом Исидором.

Донесение подполковника Граббе о новопоявившейся секте, отвергающей храмы, посты, праздники, таинства и не признающей власти. (Это особенно интересно в том отношении, что, по мнению людей, знающих толк в русских ересьях и расколах, у нас нет ни одной секты, которая бы «не признавала властей», что, впрочем, и невозможно для христианина какого бы то ни было толка.)

Мысли о народе, называемом ингилайцами, которых предки были христиане.

Сведения о Евангелиях, записанные (митрополитом Исидором) после разговора с сыном владетель-

ного князя Сванетии Мих. Дадишкилиани.

Высшая администрация русской церкви, сочинение архиепископа Агафангела – о незаконности и ошибочности принципов, положенных в основании церковно-административных учреждений. (Это тот самый архиепископ, который один решился открыто противодействовать церковно-судебной реформе, как ее проводил обер-прокурор гр. Д. А. Толстой.)

О влиянии светской власти на дела церковные.

Продолжение сочинения архиепископа Агафангела: в чем должно состоять высшее управление отечественной церкви. (Эти труды преосвященного Агафангела непременно должны быть подвергнуты обстоятельной критике, так как автор их, при отличавшей его односторонности, был, однако, знаток этого еще не успокоившегося вопроса, и, – что не часто случается с духовными писателями нашего времени, – он, будучи архиереем, в последние годы своей жизни говорил прямо и откровенно, не преклоняясь ни семо, ни овамо.)

Записка обер-прокурора синода графа А. П. Толстого о подчинении церкви контролю в хозяйственном отношении. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Рассмотрение записки под заглавием «Вдовство священников». (Самый больной вопрос вдовствующим

щих клириков.)

Отношение обер-прокурора графа Д. А. Толстого к митрополиту Исидору о назначении последнего членом комиссии по вопросу о порядке разрешения жалоб на решения св. синода по делам, подлежащим его ведению. (Жалобы на синод, единолично приносимые митрополиту, состоящему членом того же самого синода!.. Невозможно уразуметь: какой это должно обозначать порядок?)

Записка «по вопросу возражений (!) на предложенное учреждение в Петербурге православного братства».

Выписка из отношения министра внутренних дел о неудобстве вышеуказанного братства.

Выписка из отношения главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии о неудобстве того же братства. (Все эти три документа получают особенный интерес ввиду нынешнего протестантского настроения общества, при котором союзы православных уже дозволяются, но, быть может, уже несколько поздно.)

Письмо нантского епископа Жаконэ к протоиерею Иос. Васильеву по вопросу о зависимости русской церкви от императора.

О тождестве бежавшего в Нью-Йорк иеродиакона Агапия с автором (какого-то) письма. Подробные све-

дения об иеромонахе Агапии.

Секретное донесение архиерею рядового С. Кулышева о заказе ему типографского станка для печатания противоправительственных сочинений и о снабжении его неизвестными ему лицами сочинениями такого же характера: «Что нужно народу», «О сокращении расходов царского величества» и т. п. (Это дело, интересное само по себе, не менее интересно в том отношении: почему солдат, которому сделали упомянутый заказ, обратился с своим доносом не к гражданским властям и не к жандармскому офицеру, а к местному епископу? Все это возбуждает интерес к личному составу властей, которые тогда правили в Перми.)

«Объяснение с публикой». Программа действий революционного кружка.

О влиянии светской власти на дела церковные.

«Тайна», или секретная апология архимандрита Фотия императору Александру I (рукопись на 158 л.).

Письмо протоиерея М. Ф. Раевского (из Вены) к митрополиту Исидору по поводу замеченного сближения сербских и болгарских воспитанников в Киеве с поляками и о вредных следствиях этого сближения (М. Ф. Раевский, наш венский священник, которому приписывают много политических дел между славянской молодежью, – лицо, небезынттересное на краткий час для историка, а быть может, еще более для

сатирика. О. Раевский был обильно прославляем за тонкость, что до сих пор и составляет самую выступающую черту его священства.)

Славянофилы на Востоке.

Письмо архимандрита Леонида о духовном состоянии русских богомольцев в Иерусалиме.

Письмо с препровождением жесткой статьи одной греческой газеты против вселенского патриарха.

Донесение подробное о болгарском вопросе.

Письмо посланника французского по поводу брака его слуги.

Письмо Тишендорфа с препровождением его труда VII édition de Nouveau Testament.³²

Письмо его величества императора русского к султану турецкому о венгерских мятежниках, бежавших в Турцию.

Речь государя Николая Павловича к епископам польским и русским, приглашенным из Польши в Петербург. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Изложение некоторых обстоятельств, обнаруживающих невыгодное отношение закубанцев к русскому правительству. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Последствия неблагоприятного управления гене-

³² VII издание Нового завета (франц.).

рала Пулло и особенно генерала Засса – восстание чеченцев, черкесов, бегство многих в горы, даже таких, которые более пятидесяти лет были верны русскому правительству. Писано высокопреосвященным Исидором.

Стихотворение Кукольника в виду Крымской войны.

Письмо генерала Муравьева к генералу Ермолову из крепости Грозной о положении края и мысли о началах управления.

О чрезмерной жадности греческого духовенства и симонии (1860 г.).

Заметка, содержащая недовольство кавказцев, особенно войска, на письмо Муравьева к Ермолову. Писано высокопреосвященным Исидором.

Особенно замечательные случаи действия благодати божией чрез митрополита московского Филарета, бывшие при его жизни. (Известно, что на надгробии митрополита Филарета Дроздова выставлено «св.» или «свят.» – это в сокращении должно выражать святитель, но как народ мало употребляет слово «святитель» и оно ему не приходит в голову, то большинством это неудачное сокращение признается за сокращение слова «святой». Для других же, каковы, например, наши спириты, почти повсеместно чествующие митрополита Филарета Дроздова, – неловкость в сокращении здесь признается за «знак воли божи-

ей», которая таким проявлением предупредила замедляющуюся канонизацию покойного. По народным толкованиям, которые так не так надо считать мнениями, прежде Филарета могут быть открыты мощи только одного Иоасафа белгородского, а почивающий в Киево-Печерской лавре Павел, епископ тобольский (Конюшкевич), должен уступить свой ряд Филарету и стать на дальнейшую очередь. В одном Новгороде только надеются, что прежде всех должны быть открыты мощи Фотия, но этому будто сильно мешает то, что нельзя различить: от кого идут чудеса – от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой? Отличить это трудно, потому что чудеса совершаются при обоих гробах, стоящих рядом, а разъединить их – нельзя, и потому надо ждать особого знаменья, которого и ждут. Впрочем, сильное распространение в последние годы Св. Писания, обратившее внимание простонародья от людей, о которых им много натолковано, прямо ко Христу, – о котором они до сих пор были только слегка наслышаны, – до того сильно изменило религиозное настроение русских умов, что в спорах о канонизации новых святых замечается гораздо менее страстности. Мысль о Христе начинает преобладать даже над почивающими в сребропозлащенных гробах Фотия и его послушной графини.)

Много писем митрополита Филарета Дроздова, из

коих некоторые писаны по общеинтересным вопросам, а два приводят в некоторое недоумение. Это, во-первых, не письмо, а «список с отношения к московскому генерал-губернатору по поводу слуха, что в церквах Москвы читается особая молитва об избавлении от того положения, в котором она находится». А второе письмо «о незаконном, причиняющем соблазн действовании духовного цензора в Петербурге». (Первое, вероятно, относится к тому времени после закрытия библейского общества, когда прозорливым умам казалось кстати поприсмотреть за митрополитом Филаретом, – как бы он, при окружавшем его народном уважении, не воспользовался этим и не «воздвиг чего-нибудь через церковь». Это чрезвычайно интересно уже потому, что мысль о возможности такого поступка долго не оставляла многих людей самого первого сорта.)

Легко может быть, что не лишены общего исторического интереса и другие нумера этого митрополичьего дара, которые мы здесь не поименовали единственно потому, что заглавия их показались нам менее интересными. Но, кроме ценности, какую имеет весь этот дар сам по себе, он очень дорог и для характеристики самого дарителя. Жизнь наших владык течет так «прикровенно», что едва о некоторых из них можно узнать и сбересть для истории что-нибудь об-

разное и живое. В древности их жизнеописания были похожи более на жития, а позже стали походять на послужные списки, из которых ничего или почти ничего не извлечешь для истории. Не больше того усматриваем и в самых поздних некрологах, где уже, впрочем, стали иногда на что-то намекать. Был больше суров или меньше суров владыко, постился ли он и молился больше или меньше – и в этом почти все. Исключения очень редки, но и эти исключения не обильны фактами. Биографии даже таких людей, как Платон Левшин, Евгений Болховитинов и Иннокентий Борисов, скудны: нет в них именно тех мелочей жизни, в которых человек наиболее познается как живой человек, а не формулярный заместитель уряда – чиновник, который был, да и умер, а потом будет другой на его место – все равно какой. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русские своих архиереев совсем не знают: в городе с владыкой знакомы некоторые власти, среди коих не всегда находятся люди самые теплые к вере, да духовенство, у которого отношение к архиерею особое. Народ же совсем архиерея не знает, да им и не интересуется, потому что ему давно стало «все равно», что делается в церкви, и он выразил это в присловии: «нам что ни поп, тот и батька» (это у наших лицемеров и ханжей называется «богоучрежденным порядком»). Между тем в чис-

ле наших архиереев есть люди замечательного ума и иногда удивительного сердца. (Припомним архиепископа Димитрия Муретова и состоящего не у дел епископа Ф.) Знать о таких и им подобных людях возбуждательнее, чем читать иные старые сказания, риторическая ложь которых давно обличена и не перестает обличать себя во всяком слове. Чтобы изолгавшиеся хриstopродавцы не укорили нас в легкомыслии и «подрывании основ», скажем, что это не наша мысль или не исключительно наша: мы встречаем ее, например, даже у Эбрарда (Апологетика, перевод протоиерея Заркевича 1880 г., стр. 598). «Если предложить вопрос о том, что служит доказательством (христианства), то это доказательство можно заимствовать собственно не из истории христианских обществ, а исключительно только из жизнеописаний частных лиц в христианстве, в которых Евангелие проявило себя как силу Божию». А где же, кажется, и искать бы проявлений этой силы, как не между теми, которые первенствуют в церкви? И вот тут-то, как нарочно, и приложена превосходно кем-то подмеченная манера «манервирования» святителей, то есть манера представлять их получившими все совершенства, не возрастая и не укрепляясь, – они будто так прямо и являются полными всех добродетелей «от сосцу матерне». Некоторые из них даже не сосали по средам и пятни-

цам материнской груди... Результат этого перед нами налицо...

Где всему легко верят, там легко и утрачивают *всякую веру*.

Литературный дар высокопреосвященного Исидора до известной степени иллюстрирует особу нашего петербургского митрополита, которого вообще считают человеком опытным в жизни и благожелательным. Рассматривая этот список, мы проникаем, так сказать, в некую сокровенную сень и узнаем, что наиболее интересовало и занимало высокопреосвященного Исидора, – узнаем, что он не пренебрегал весьма разнообразными сведениями и даже, очевидно, думал об очень многом, не составляющем его прямых обязанностей. О нем всегда говорили, что он неутомимый читатель. Значительное количество времени митрополита берет ежедневное чтение газет, в которых он следит за обсуждением разных вопросов, и между прочим церковного. Было известно, что он не остается равнодушным к заявлениям печати и настолько терпим ко мнениям, что очень в редких случаях жалуется на печать. Сколько известно в литературном кружке, такой, едва ли не первый и не последний, случай был не так давно по поводу диссертации одного молодого университетского профессора, разбиравшего легенду о св. Георгии. Диссертация

ция была из наилучших и составляет дорогой и самостоятельный вклад в нашу литературу, но, разумеется, взгляд ученого, основанный на неопровержимых фактах, и взгляд лица, обязанного во что бы ни стало защищать предания, хотя и освященные временем, но совершенно рассыпавшиеся под методической силою настоящей, научной критики, сойтись не могли, и наш митрополит протестовал, но совершенно безвредно и даже беспоследственно. Замечательное исследование молодого ученого о легенде св. Георгия напечатано в министерском журнале, а в науке неудовольствие митрополита не получило значения. Но во многих случаях, когда печать указывает что-либо дурное в церковном управлении, митрополит не пренебрегает это поправить, притом всегда без шума и непременно без резкостей, которых не одобряет его благожелательное настроение. Но из того, что высокопреосвященный Исидор имел охоту и удивительное терпение собственноручно списать, можно заключить, что его внимание особенно часто было привлекаемо делами политики, прямого касательства к которой он по сану святителя не имел и, стало быть, занимался ею прямо *con amore*.³³ Некоторые списки, сделанные его рукою, заставляют еще более удивляться трудолюбию его высокопреосвящен-

³³ Из любви к искусству (*лат.*).

ства, потому что их оригиналы сохранены нам печатью. Таковы, например, значащиеся под № 232 «Выписка из газеты: „Kurier Wilenski“³⁴ о собрании раввинов во Франкфурте-на-Майне». № 233 «Заметка о числе и составе европейского народонаселения в Алжире, из „Morning Chronicle“.³⁵ «О числе жителей по всей земле по верам», из газеты «Золотое руно» аббата Лакордера, об увеличивающемся в Париже числе самоубийств, найденышей и умалишенных, из газеты «Correspondant».³⁶ «Россия и Запад», из газеты «Independence Belge».³⁷ Есть даже списки статей русских газет, например статьи «Московских ведомостей» из № 11, 1855 года. Владыку, как надо судить по выпискам, занимали также и другие вопросы: его занимали труды Песталоцци, Нимейера, Коверау и Дистервега, а также пресловутый в свое время Шедо-Ферротти, «неправильные действия австрийского главнокомандующего Гайнау» и «удивительные действия зерен белой горчицы», а потом вопрос Кобдена: «Что же далее?» Словом, необыкновенная пестрота, в которой своя доля внимания дана вопросам самым разносторонним...

³⁴ «Виленский курьер» (польск.).

³⁵ «Утренняя хроника» (англ.).

³⁶ «Корреспондент» (франц.).

³⁷ «Независимая Бельгия» (франц.).

Говоря об этом списке, который хотя отчасти открывает перед нами кабинетную жизнь первого духовного сановника русской церкви, которого удастся видеть только в сакосе и митре или в запряженной цугом карете, – мы должны упомянуть и о том, что в большинстве случаев архиерейские бумаги обыкновенно тотчас после кончины их владельца «обеспечиваются», и рука исследователя до них добирается очень не скоро, а до иных даже и вовсе не добирается. А потому, если бумаги, подаренные митрополитом Исидором академии, составляют (как надо думать) только часть его архива, то и тогда следует быть ему благодарным, что он сам, по собственному почину, устроил так, чтобы они стали доступны истории и критике без напрасной траты многого времени. Но пока что (дай бог еще многих лет жизни митрополиту Исидору) одно поверхностное знакомство с его литературным даром, конечно, многих должно удивить: сколько наш ныне уже ветхий и достопочтенный старец хранил в себе постоянно живой способности интересоваться предметами, которые интересуют не всякого из лиц его положения. Это во всяком случае значит жить со своим веком и аскетическое неведение о нем не считать лучшим достоинством церковного правителя. В таком взгляде, кажется, нет ни малейшей ошибки.

Таким образом, при этих слабых данных мы все-та-

ки находим некоторую возможность дать самому отдаленному читателю некоторое свободное очертание лица, имеющего несомненно историческое значение, потому что митрополит Исидор давно стоит во главе управления нашей церкви, и притом в ту пору, когда она – и лиходеям и доброжелателям – стала часто представляться в состоянии, похожем на разложение, или, точнее сказать, – в *кризисе*, который, впрочем, переживает все церковное христианство.

Впервые опубликовано – газета «Новости», 1878.